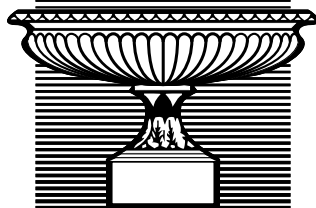


АЛТАЙ

2/2021



Электронная библиотека АКУНЬ, eib.altlib.ru

Клековкин Николай Николаевич (г.р. 1955)



Над облаками. 2020
Холст, масло. 90x110

Издается с 1947 г.

А Л Т А И



МАЙ

2/2021

*литературно-художественный
публицистический
культурно-просветительский
журнал*

16+

ЖУРНАЛ «АЛТАЙ»
№ 2, 2021

Редакционный совет:

Безрукова Е. Е. (председатель совета)
Вигандт Л. А. (главный редактор)
Габдраупова Ф. А. (Барнаул)
Дмитриев А. В. (г. Доброполье,
Донецкая область)
Жданов И. Ф. (Барнаул; п. Симеиз, Крым)
Кирилин А. В. (Барнаул)
Клишина Е. М. (Барнаул)
Колокольников С. В. (редактор отдела прозы
и публицистики)
Котеленец В. С. (редактор отдела поэзии)
Кудимова М. В. (Москва)
Малыгина А. С. (Барнаул)
Николенко Н. Г. (Барнаул)
Пономарёв П. В. (редактор отдела прозы
и публицистики)
Филатов С. В. (Бийск)
Чернышков Д. В. (Бийск)

Учредитель журнала:

Краевое государственное
бюджетное учреждение
«Алтайская краевая
универсальная научная
библиотека
имени В. Я. Шишкова»

Адрес редакции и издателя:

656038, Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Молодежная, д. 5,
тел.: (3852) 506-628,
e-mail: altai-journal@mail.ru

Верстка:

Четырина Н. П.

Корректор:

Берглизова Т. П.

Издание зарегистрировано в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ22–00569 от 22 сентября 2015 года.

Тираж 1600 экземпляров. Дата выхода в свет: 25.05.2021. Распространяется бесплатно.

Адрес типографии: ООО «ОМСКБЛАНКИЗДАТ». 644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34. Тел.: 8 (3812) 25-02-37, 212-111. E-mail: obi@ya.ru

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций.

Их мнение может не совпадать с точкой зрения редакции.

При цитировании материалов без согласования с редакцией ссылка на журнал обязательна.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

- Ольга Родионова.** «снова внутри от нежности мёд и лёд...».
«Целуюсь в пустынном сквере...». «Ты вернулся, Кай, ты вернулся в наши края...». «Ребёнок в матроске, на лбу — горделивое “Витязь”...».
«на юг, на юг, где ангел сломал весло...». «Не в этот час — рассветный, дождевой...». «Спляшем, Пегги? Осеннее пламя твоей головы...».
Черубино. Театр 27
- Юрий Кучумов.** Мама. Бабушка вяжет. «Не искупит тоски, не утешит...».
«Тишину мою двигают ходики...». «Сижу, как кот, на солнцепёке...».
Дядя Саша. «Дочурке я даю советы...». «Откуда этот лёд и зной...». Малая Родина. Из детства. Ссора. «Приезжай ко мне, сын мой Глебушка...» 38
- Людмила Свирская.** «Свалила за бугор” безбашенная осень...». У фонтана.
«Я не сильная женщина, нет, не сильная...». «Жить на пятом десятке спокойней и проще...». «Что ни день — то испытание...». «Убийца-март. Кто этого хотел...». «Жизнь под замком. Закрыты горы...». «Когда я за автобусом — вдогонку...». «Не дождь, не снег — но что-то сыплет с неба...» 110

Проза

- Анатолий Кирилин.** Да не расколется твой камень. *Рассказ* 5
- Павел Рябов.** Хрустальный шар. *Рассказ* 46

Лучшие биографии

- Наталья Лясковская.** Лесков. Глава 3. Панин Хутор. *Продолжение* 94

Дебют

- Виктор Галкин.** Акварели детства. *Стихи в прозе* 61
- Денис Маслаков.** Такая вот весна. Скоро четверть века. Самолёт. Поезд. Детский домик. Петербургское. *Стихи* 116

Памяти В. Я. Курбатова

Юрий Кабанков. «Души спасенных во тьму не глядят»	122
Станислав Минаков. «Но в дружестве навеки сведены...». <i>Из писем</i> <i>Валентина Курбатова Станиславу Минакову</i>	130
Сергей Филатов. «...Обнимаю Вас. Ваш В. Курбатов»	144
Валентин Курбатов. С горы Пикет. <i>Выступление на ГТРК Алтай в передаче</i> <i>«По улице Шукшина». 2002 год</i>	149

Литературоведение

Дмитрий Марьин. На добрую память. Истинный и ложный дар в творчестве В. М. Шукшина	156
Александр Куляпин. Притяжение Земли: космическая тема в деревенской прозе 1960 годов.....	170

День Победы. Очерк

Владимир Чикильдик. Мадонна с героями.....	183
---	-----

Книжный двор

Евгения Декина. Современная история. О книге М. Гундарина <i>«Солнце всходит и заходит: Жизнь и удивительные приключения Евгения</i> <i>Попова, сибиряка, пьяницы, скандалиста и знаменитого писателя»</i>	96
Виталий Белицкий. Правда переднего края. О книге Тимофеева А. В. <i>«Как русские научились воевать. Откровенные беседы с фронтовиками»</i>	202

Анатолий Кирилин

Родился в 1947 году в Барнауле. Автор двенадцати книг прозы и публицистики, изданных в Сибири и Москве. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай» и др. Живет в Барнауле.



ДА НЕ РАСКОЛЕТСЯ ТВОЙ КАМЕНЬ

Документальный рассказ.

Тех, кто знает предмет повествования, его героев, прошу понять и принять некоторый вымысел в этом по большей части правдивом изложении.

Художник умирал. Он лежал ничком на садовой тропинке, выложенной булыжниками. Каждый — памятка от близких, далеких, случайных знакомых, бывших здесь лишь единожды. Всякий раз, приглашая к себе на дачу кого бы то ни было, он наказывал взять с собой булыжник.

— А выпить, закусить?

— Нет, только камень.

Многие оставляли автографы на принесенных камнях, но только один, архитектор Ваня Зотов, догадался покрыть свою подпись лаком. Впрочем, и она со временем исчезла, лишь редкие чешуйки лака напоминали о ней.

Иногда он забывался, уходил в небытие, и тогда мир обретал краски, оживал. Он хотел бы уйти в тот цветной мир насовсем, не возвращаться в холодную, серую действительность, не получалось, явь зачем-то не отпускала его надолго. Лежать в такой позе, уткнувшись лицом в серый гранитный окатыш, было неудобно, но привстать или хотя бы повернуться на бок сил не было. Все они куда-то утекли, без остатка.

А жизнь, как это ни странно, зовет за собой мыслями о самом простом. Надо бы затопить печь, мастерская уже несколько дней холодная. Он недавно перебирал картоны, составленные у стены, — некоторые начал подъедать грибок. Там ведь есть неплохие работы, графика. Надо пойти затопить печь — и тут же провал — сон ли, видение... И первое ему явилось — кем-то невидимым произнесенная фраза, которую он сам давным-давно отправил в письме своему другу на Алтай: где та грань между существовавшим и существующим? С цветным миром, являющимся в забытии, начало происходить что-то странное. Он стал складываться из осколков отшлифованного камня, и художник сразу же понял: это флорентийская мозаика. Только открылась она не в виде панно, встроенными в стену, не одетыми в рамы картинами, она заполнила все пространство: небо, земля, деревья, дома — все сплошная мозаика. Художник начал перебирать в памяти: это белоречит, кварцит с Алтая, это ревневская полосчатая яшма оттуда же, это лазурит с Памира, орская яшма, чароит из Иркутской области, карельский гранит, пуштулимский мрамор... Он удивлялся мастерству, с каким подогнаны одна к одной каменные пластины, ни щелочки, ни одного видимого стыка. Полжизни положил на работу с этой мозаикой на колыванской фабрике, а добиться такой техники так и не сумел. Видел в запасниках Эрмитажа наборные столешницы работы итальянских мастеров 17-го века — чудо чудное, подгонка идеальная, а отреставрировать некому, нет нынче таких умельцев.

Пришло время, появились умные станки с заданными компьютерами программами — и он поехал в Колывань, повез образец безупречно выполненных соединений каменной фанеры. Долгожданная встреча со старыми друзьями, художниками камнерезного завода.

— А где Серега?

— Уехал в Первоуральск, на родину, говорят, фирму там открыл, памятники делает для богачей, камни.

— Володя?

— Дома сидит, болеет, силикоз, дышит трудно.

— Так это ж вроде шахтерская болезнь?

— У камнерезов он еще хуже. Угольную пыль как-то можно выгнать из организма, каменную — никогда.

— Василий?

— Жена не отпустила, корова у них разродиться не может.

Главный художник Саша Дербенев крутит в руках привезенную из Питера пластину, а смотрит куда-то мимо. Мимо всего. «Побила житуха, — думает гость, — смотри-ка, седой совсем. И куда я столько набрал!» — оглядывает он стол с рядом красивых бутылок и деликатесами, привезенными из краевого центра. За столом, кроме него и Саши, старый мастер Иванов и недавно приехавший из Тагильского училища вчерашний его ученик. Да, того самого училища, из которого двадцать с лишним лет назад сюда вместе с Сашей приехали еще одиннадцать выпускников. Они сутками не уходили с завода, иногда прямо там весело выпивали и работали, работали... Трудно было сказать, кто кого больше воодушевлял: питерский гость с его бесчисленными идеями — хозяев или они, юные, злые до работы, — его.

— Ну что, Саня, будем новую технологию внедрять? Завтра с вашим директором встречаюсь, вроде, говорят, дельный мужик. Смотрю, новый цех достраиваете, значит, интерес к развитию есть.

Главный художник, заметно потяжелевший от выпитого, без воодушевления удостоверил:

— Будем.

Ночевал он в гостевой комнате, ворочаясь на неудобной кровати с комковатым матрасом. А едва засыпал — тут же являлась глазастая корова, она вела в поводу Василия, одного из лучших мастеров завода.

Директор, этакий окатыш — кругляш на двух кругляшках, сверху еще один кругляшок — выказал живой интерес.

— Вы возвращаетесь к себе в Питер, а через месяц, нет, полтора я приезжаю в Москву, встречаемся, идем в Минкульт. Нас сейчас по ведомственной принадлежности к коммунальщикам прицепили, может, туда... Но начинать, мне кажется, надо с Минкульта. К тому времени вы подготовите свои соображения, я — свои.

Все обещало веселую работу... В уплывающем сознании промелькнул новый цех, территория, заваленная гранитными бордюрами, извилистая лента дороги до райцентра.

На этот раз, очнувшись, художник удивился птичьему многоголосью. Раньше такого не замечал. Он подумал: птицы тоже умирают. И жизнь многих из них наверняка короче человеческой. Их так много, птиц самых разных! А где же трупы? Ими должна быть усеяна земля, ведь хоронить их некому. Бывает, увидишь замерзшую птаху или сшибленную на лету каким-нибудь лихим автомобилем — так это единицы. Говорят, в птиц вселяются наши бессмертные души, может, здесь и таится отгадка. Бессмертные души, бессмертные птицы...

«Какая теплая зима! Мне нисколько не холодно», — думал он, пытаясь пошевелить пальцами ног, затем рук и не понимая, чувствует он их или нет... Новый год наступил только что, он знает это, потому как день рождения у него второго января. Нынче был юбилей, приезжали сыновья, бывшая жена, скульптор Ваня Козицын, кто-то еще, кто — он не может вспомнить. Все они уехали только вчера. Или позавчера. Или третьего дня. Недавно, совсем недавно. Новый год... За пленой времени открылся город, куда они с женой и четырехлетним сыном Вениамином уехали из Ленинграда. Молодые, дерзкие, талантливые. Мастерская, которая несколько лет служила им местом работы и жилищем. Станный город со странным названием, Барнаул.

— Ты просто пальцем ткнул в большую карту родины, так ведь, сознайся! — приставал к нему однокурсник Ваня Корнев.

— Нет, дровтики метал с завязанными глазами, — отшучивался художник.

Только жена и старая смотрительница из Эрмитажа знали истинную причину. Кольвань. Ее вазы и торшеры, знаменитая чаша, ее прошлое, застывшее в музейных стенах, — вот что безудержно влекло его к себе, за собой.

Новый год, 1974-й, первый Новый год в Барнауле. В мастерской несколько художников, журналистка, первой заметившая появление в городе новой творческой пары, ее друг, который привел с собой своего друга. Журналистка представила своего спутника писателем, но тот на писателя не был похож. Короткая спортивная стрижка, спортивная же фигура, облаченная в дорожной костюм-тройку. Они с другом являли собой пару из дорогого модного журнала и выпадали из богемного ансамбля, где изрядов предпочтение было отдано джинсам и свитерам. Соревнование «кто больше выпьет» с изрядным преимуществом выиграли костюмы. Скучая за столом, они смотрели на рухнувших художников, друг на друга, и во взглядах этих сквозил вопрос: а что дальше?

Позднее художник подружился с писателем, они, бывало, вместе ездили в горы «на пленер» и месяцами пропадали в Колывани. Он всегда знал, что ему не оторваться от этого места, не отдалить его ни расстояниями, ни мыслями.

Клубника на склонах зачерствела, потемнела, не набрав спелости. Солнце торопит крестьянина: коси траву, иначе не видать тебе сена... С подводы, кряхтя, спешился дед, не спеша распряг лошадь, к которой жался жеребенок-сеголеток. Дед — то еще ветхозаветное явление. Из-под битого временем картуза седые пряди, очевидно, знающие ножницы лишь по праздникам, застиранная, неопределенного цвета рубаха опоясана бечевкой, облезшие сапоги со смятыми голенищами. Но что заметнее всего в его облике — по-детски ясные, пронзительно-голубые глаза.

— Здравствуйте! Косить собрались?

— Надо маленько. — Голос твердый, без стариковского дребезжания.

— По-моему, у вас тут еще не начинали.

— В добрых местах не дают, а тут некуда ждать. Пора.

— Покос большой?

— Да вот, — старик повел рукой вдоль лога, — до тех деревьев.

— Прилично... А я вот топчу тут у вас, уж извините.

— И-и, сказали! Сейчас понаедут за ягодой, за пасекой палаток наставят, иные месяцами живут. Да и то сказать, велика ли беда, людям отдыхать надо, в городе так не подышишь.

— Извините, как зовут вас?

— Прокопий, старое имя, — сообщил он, как бы извиняясь. —

А по отчеству Матвейч.

— А семья большая, да, Прокопий Матвейч?

— Какая теперь семья, вдвоем с бабушкой. Два сына в Бийске, дочь в Рубцовске, одна тут неподалеку.

— Навещают?

— Бывает, когда за мясом или еще чем, а помогать не помогают.

— И много скотины держите?

— Корова, телка, подтелок, овечек пятнадцать штук. Вдвоем со старухой управляемся.

— Здоровье-то не подводит?

— Нет его, здоровья, восемь десятков скоро, где от ранения, где от легких болит.

— Воевали, значит.

Дед промолчал, лишь быстро так глянул: экий непонятливый!

— Ну, и держали бы поменьше, вам и половины много.

— Оно как: спину ломит, а живот просит. Отчего не держать, если позволительно. Помню, после войны туго было. Если в хозяйстве коровенка есть, уже хорошо, и сдавать ничего не надо. А сейчас, смотри, по две-три коровы у каждого, мясо в кооперацию сдают, хозяйства мясные специальные — заестись можно. Говорят, людей много стало, так и колхозов-совхозов сколько, по дворам опять же скотины полно... У меня еще и куры есть, может, яиц хотите купить, приходите. У вас в городе-то как нынче с продуктами?

— По-всякому, но жить можно, холодильники не пустуют. Нет, правда, хорошо, в общем, живем. Войны бы только не было.

— Это не надо, — соглашается он, — какое с нее добро?

А за яйцами приходите. На въезде в поселок левой дорогой сразу домишко мой, там еще дрова белые навалены, ивовые, кору я с них содрал.

Он потрогал ногтем лезвие косы.

— Извините, что оторвал от дела.

— Дело у меня нескорое, а вам спасибо, что подошли, скучно бывает одному.

То и дело возникала одна и та же мысль: «Почему не холодно? Голая земля, зима... Наверно, я лежу тут совсем недолго, и все, что проходит перед глазами, — сон. Ведь известно, во сне за минуту могут пролететь годы».

Комната художников на Колыванском заводе. Кроки, чертежи, полки с заготовками. Писателя обрядили в рабочий халат и огромный прорезиненный фартук, он осваивает азы камнерезного дела.

— Буду образцы для себя шлифовать, полировать.

— Смотри, — предостерегает один из художников, Олег, — камень — это зараза, прицепится — не оторвешь.

— Да я немного, так чтобы дома Колывань вспоминать.

— Ну, тогда вот тебе яшма, порфир, лиственит, агат...

Пьют чай из потемневших кружек. Кипяток булькает на са- модельной плитке, тело которой состоит из двух огнеупорных кирпичей со спрятанной в канавках толстой спиралью. По словам того же Олега, зимой они с помощью этой плитки обогреваются. Художник уже расстался с мыслью собирать коллекцию камней, давно уже вся его жизнь — камни. Сейчас он заканчивает эскиз огромного панно для речного вокзала. Это будет первая масштабная флорентийская мозаика за всю историю завода. Там надо уместить все — природу Алтая, историю, героя-труженика, покорившего эти необъятные просторы.

К концу рабочего дня к художникам зашел инженер Петров, принес водку, сало.

— Опять без обеда, — глянул на художника. Не дожидаясь ответа, начал резать хлеб.

Сели кругом. Разговоры об одном.

— Три года пилили гранит для Омска, в крае будто бы и не знали. Потом поняли наконец, что и себе надо. Теперь пилить будем на облицовку зданий, вальцы для химиков делать — это деньги, это экономика, это даст нам возможность делать интересные работы.

— Вот это разговор хозяина! — воодушевился художник.

Знать бы тогда, что не так далеки те времена, когда единственной продукцией завода станут вальцы и бордюры... Да еще — для приработка — надгробные плиты и портреты на камне

под названием звонарь. Но тогда дух творчества и вера в непобедимость искусства были в них сильнее всего.

— Эти идиоты военные или кто там выполняет их заказы, чтобы легче было добывать белоречит — он где-то в военной промышленности применяется, — взорвали гору Разрабочую. С геологами забыли посоветоваться, те бы подсказали, что камень высокого коэффициента прочности, взорвал — трещины пойдут по всему месторождению. И вот попробуй сейчас найти приличный блок для большой вазы — любой на станке рассыплется. Так и живем: один головотяп отдаст приказ — и не расхлебать веками.

Очевидно, в тот самый день и родился у них тост: да не расколется твой камень!

Надо бы подняться, дел невпроворот. Печь протопить, а то сырость по дому пошла. Недавно перебирал картоны — плесень несколько листов уже подъела. Натюрморт закончить, там чуть-чуть осталось, восточный кувшин с апельсином. Обещал другу-писателю, у того пунктик завелся: хочу серию натюрмортов, чтобы там апельсин присутствовал. А началось все с левкаса, который писатель едва ли не силой забрал у него. Они с женой и сыновьями уже почти все собрали перед возвращением в Питер, осталось несколько небольших работ, стоящих на полу вдоль стены. Писатель поднял одну и больше не выпустил ее из рук. Ковыль в высоком фужере тонкого стекла, рядом апельсин. Работа изящная, чувственная — так отнесся к ней писатель. Придумает тоже! Чувства — удел человека. Но у того на все ответ:

— Вот все, что вызывает эти самые чувства, и есть чувственность.

Все-таки необходимо побороть эту немощь, хотя пустое все, ненужное, разве вот печку затопить. Да что-то совсем немогуту.

— Можешь!

— Не могу.

— Можешь!

— Не могу.

Хозяйке, у которой снимали они в Колывани полдома, бабе Наде, под восемьдесят. Дом стоит в низинке, под дорогой, это место в селе так и называют — Подъяр. Напротив дома речка, она течет через плотину, через завод и несет с собой камушки

с завода — сургучную яшму, звонарь, мрамор, разноцветные кварциты. Все дороги в Колывани усыпаны кварцитами.

— Придет время — будем выковыривать эти камешки из-под ног.

Кто это сказал? Ах да, сам же он и говорил другу-писателю...

Баба Надя верующая, но икон в доме нет, в красном углу картина Брюллова «Портрет незнакомки». Пенсия скромная, за колхозные «палочки» посчитали негусто. Но есть приработок, заговаривает детей от испуга, от сглаза, редко — это уж касается взрослых — от приворота. Ее подруга, старая Крючиха, тоже знахарка, только больше помогает скотине. Недавно вылечила ногу у лошади, ту уж было собрались на живодерню отправлять. Крючиха все время гоняется за коровой с телятком, при этом разговаривает сама с собой. Баба Надя увидела ее с палочкой.

— Это у тебя не мой бадик?

— Да то ж подсолнуховая палка, али она тебя выдержит!

— Ядрена корень!

Этими двумя словами баба Надя ругается, удивляется, одобряет, меняется лишь интонация.

Тем же летом художника привезли рисовать первого председателя колхоза. Хибара как в «Сказке о рыбаке и рыбке». Все хозяйство покренилось, попадало, стайки завалились, курицы от туда в страхе разбежались, коза уже по росту не проходит. В доме лежит на лавке древний дед, сбоку щели, задувает, ноги к печке прислонены.

— Что ж не отремонтируете?

— А главное — ноги в тепле, — вступает в разговор хозяйка. — Сейчас и на улице не холодно, а зимой мы фуфайку подтыкаем. Слабые стали. Он раньше вон какой молодец был, — показывает на фотографию, где молодец в лихо заломленной кубанке развернул грудь навстречу фотографу. — Да и я по три ведра воды таскала, сейчас одно кое-как...

Тут же что-то перещелкнуло, как в стареньком диапроекторе, и вот уже они с другом-писателем идут через лес к вершине горы Синюхи. На пути озеро Моховое, сказочно красивое, берега — каменные блины один на другом, а к ним вплотную подступают сосны и лиственницы. Искупались.

— Вот здесь мы с тобой домик поставим, на самом берегу, ма-стерскую художника и писателя. И лестница будет сходить прямо к воде. И никто нам мешать не будет...

Шло время, писатель при встречах и позднее в редких письмах задавал один и тот же вопрос: когда начнем строить? Усмешка при этом становилась все горше, а закончилось все приговором самим себе: а домик мы так и не построили. Такая вот штука жизнь — то, что виделось простым и легким, оказалось непосильным...

Чуть выше — пионы еще не отцвели, в здешних местах их называют Марьиными кореньями, потом — огоньки. Баба Надя рассказывала, что до недавнего времени поднималась на Синюху и помнит, когда батюшка на коне туда въезжал. Служил там. Вот и память о том времени — обломок металлического костыля, который держал крест. Потрогали пружинящее ложе из можжевельника, попили талой водицы из каменных ложбинок. День разгорелся прозрачный, на десятки километров окрест поля, озера, перелески, села и хутора. Все это звало к освоению и внушало уверенность, что будет ими освоено. И ничего, что даль простирается на многие и многие версты и тает в дымке за горизонтом, это все у их ног, это все они видят, значит, смогут и объять.

На юбилей приехала бывшая жена, сыновья — старший из Москвы, младший из Парижа. Художник не ждал никого, но вот приехали, и он обрадовался им... Сюрпризы жизни! Он, сколько себя помнит, воевал с архитекторами, которым его попытки монументального «украшательства» всегда казались излишними. И вот, поди ж ты, его бывшая вышла замуж за архитектора! Художник всегда любил только ее, а она... Он думал, что она никогда не любила его по-настоящему, так, терпела. А когда дети выросли и надобность в терпении отпала, она ушла. На прощание сказала: ты можешь любить только себя. «Это несправедливо, это неправда!» — все кричало в нем — но она этого не услышала. Он часто думал о ней и видел не живое лицо, не фотографии, а фрески в форме медальонов на стенах барнаульского Дворца бракосочетаний, где они изображены молодыми, влюбленными, так похожими на себя.

По инерции или по призванию? Вряд ли и тогда и теперь смог бы он ответить, почему сыновья пошли учиться на художников. Когда он увидел курсовую работу старшего, сказал

себе: этот пойдет дальше меня. Но тот, красавчик, создал вокально-инструментальную группу, начал позировать для модных журналов. Младший стал приличным дизайнером, работал все больше по зарубежным заказам и окончательно определился в Париже. Дети успешные, ничего не скажешь, но какой-то успех у них не семейный. Отец художника был известным юристом, для воспитания сына много времени не имел и потому сразу забирал круто: порол его нещадно, загоняя к мольберту.

А юбилей... Что там было? Ведь вчера только — позавчера ли? — собрались все, стол накрыли, говорили. Нет, он ничего не может вспомнить из всего многоголосья, вот сейчас видит их всех перед собой, говорят, губами шевелят — а слов не слышно. Давайте тогда я скажу. Сейчас, вот только встану со своего места... Нет, не могу, я так, не вставая, можно?

— Смешно и грустно. Вот так, незаметно, утек песок из моих часов. Это не успел, на другое не хватило времени. На что истратил то, что было, — только с себя спрашивать. Мир — в нас самих, очарование и любовь творим мы сами. Не смотрите на меня, не повторяйте, у вас своя жизнь. У меня осталась мечта — еще хоть раз побывать на Алтае. Только не надо мне помогать, все, что смогу, — своими силами.

Ночь. Метель. Как они сумели пробиться до Кольвани на «Волге» барнаульской чиновницы — долго удивлялись сами, удивляли других. Мало им дорожных приключений — тут же по приезде отправились к местному егерю. А все ночь и ночь, нескончаемая. Во дворе сквозь метельный мрак художник успел схватить взглядом аккуратную поленницу чуть не по всему периметру ограды. Хозяин не спал. На кухне, отделенной от остального жилья на городской манер, пылала печь, а на ней сладко дышала свежей убойной огромная выварка.

— Ждал? — спросил хозяина художник.

— А то! — распахнул объятя тот.

— Ты баню тут натопил, хоть веник запаривай. Понятно, дров не жалко, видел я, сколько наготовил.

Хозяин помрачнел.

— Дрова у меня в другом месте сложены, то ноги лосиные.

— Ого! Это ж ферму целую забить...

— Это проклятье моей должности. Приезжают генералы, и в погонах и без, приезжают папахи — и у всех по несколько лицензий. Сказал бы кто — не поверил бы, все бумаги чин чинарем, не придерешься. Кто их тут прикормил, не знаю. Вот и идет битва не на жизнь, а на смерть. А ноги... Придет времечко им расчитываться — предъявлю доказательства. Уйду я скоро, не хочу больше. В пасечники подамся.

Хозяин известный в округе волчатник. Большинство охотников на этого зверя рассыпают отравленную приваду, а этот всегда стремится встать с хищником глаза в глаза.

— Знаешь, чего хочу? — спросил однажды. — Чтоб на меня напала стая штук этак в семь.

— Так задерут!

— А нет! Я их не боюсь...

«В пасечники он пойдет!» — усомнился тогда художник.

В последнее время письма приходят все реже. Кому писать-то? А в тех редких — расстаются, заводят новые семьи, разменивают квартиры, женят детей... Тоже жизнь. Но почему-то никто не сообщит, что вчера ввечеру он сидел на крыльце и наблюдал за закатом. Или смотрел, как скворец кормит скворчиху, высиживающую потомство. Или слушал кукушку... Когда скворец освободится от забот по кормежке мамыши и детишек, у него появится свободное время и он станет передразнивать сорок, соседских кошек и даже петуха. У людей чаще всего времени на то, чтобы видеть это, не хватает.

Все могло быть иначе. Эта мысль уже давно не дает ему покоя. Как — он не знает, но по-другому. Калейдоскоп лиц постоянно выхватывает из прошлого все новые и новые. Вот Тамара, жена егеря, за ней местный любитель истории Дударенко, бывший директор завода Борис Пчелинцев... Вглядывается он в них и задумывается о смысле своего существования. «А ты существуй — и все!» — это ему сказал однажды друг-писатель.

После завтрака свежениной из лосятины отправились прямо на завод. А день все путался в метели и никак не уходящей темноте. Народу собралось человек тридцать — начальство, художники, рабочие. Ваза была закреплена на станке, затянута

пленкой. Сдернули покрова — и вот она, красавица, долгожданная, первая такого солидного размера за многие десятилетия существования завода. Его ваза! Родная сестра той самой знаменитой чаши из Эрмитажа, для которой строили отдельную комнату, обе из ревневской яшмы. Похлопали, сказали несколько слов, плеснули водки на зеленый полированный бок. Да не расколется твой камень! — вслух не произнесли, поняли переглянувшись с Борисом, с художниками, с мастерами.

А потом обнимали ее, а потом пировали и говорили, говорили, вспомнили, что еще академик Ферсман, великий знаток камня, утверждал, что настоящих центров камнерезного искусства в России всего три — Петергоф, Екатеринбург и Колывань. Как бы там ни было, из них сегодня жива только Колывань.

А потом было торжественное открытие монумента с вазой в дни празднования 250-летия Барнаула, что, собственно, и послужило поводом для создания этой красавицы из зеленой полосчатой яшмы. Художник долго искал форму для нее, пересматривая старые листы с чертежами Кваренги, Росси, Воронихина... Вазу водрузили на месте, где раньше находился фонтан с двумя бетонными мальчиками, держащими рыбку, у которой изо рта бежала водичка. Художник настоял, чтобы водная гладь была сохранена. Многие барнаульцы жалели, что вслед за мальчиками снесли единственную в городе блинную, но то — другой разговор, на месте блинной построили довольно уютный ресторан и при нем пивоварню.

Почему-то ушел спор с самим собой: сможет он подняться или не сможет. Прошлая жизнь захватила, завладела им полностью, в который уж раз подчеркивая, что это и была его настоящая жизнь, там, на Алтае, в буранной и цветной стороне. Все остальное или предисловие или эпилог. Лишь чуть пробивали сознание мысли о заботах насущных — печка, дрова, мокнувший угол, от которого пошел гулять по дому грибок. Картоны, кроки, этюды — все может пропасть.

На Алтае родился их младший, получивший имя деда. И вскоре после его рождения жена завела разговоры о возвращении в Питер. Какой Питер, работы невпроворот. К тому времени

на заводе с его подачи всю осваивали флорентийскую мозаику. Раньше этим не занимались. Самым трудным оказался не подбор камня, не его обработка и подгонка, а поиск материала для основания, на котором крепилась вся композиция — набранные из камня натюрморты, портреты, картины. Один коробится от воды, другой непомерно тяжел, третий недолговечен... Как бы там ни было, после многих месяцев бессонного бдения на заводе появилось большое мозаичное панно на речном вокзале. Вот это был праздник! Событие в монументальном искусстве всей огромной страны! Родовались и выслушивали критику, которой было в избытке: и стыки не везде точные, и цвет кое-где поддулял, и тематика, извините, слишком уж соцреалистическая. А дело шло...

Он скорее почувствовал, чем услышал: кто-то вошел в калитку и движется в его сторону. Почему так медленно идет этот человек? Кто это может быть? Повернуть голову, как-то исхитриться приподнять свое непомерно тяжелое тело. Есть же еще жизнь в нем, ну хоть немного. Вот сейчас подойдут, помогут, спасут... А надо? Что потом? Кому он объяснит, почему не ушел, зачем остался? Для кого? Его ждут этюды, наброски, сделанные в Колывани, с ними работы на десятилетия. А куда их потом? Выставку организовать! Да, точно, только не в Питере, кому она здесь интересна? Надо будет отвезти ее на Алтай, там его помнят, там живы его мозаики, его вазы, их время так быстро не сотрет... Шаги стихли, художнику показалось, что он слышит дыхание подошедшего. Окликнуть? Дать понять, что он еще жив? Но нет, тело не слушается, а голос пропал сразу после отъезда гостей. Не нужен ему голос, говорить — это оказалось самым ненужным в его нынешней жизни. И если ему приходилось совершать редкие походы в магазин за продуктами, он полдня до выхода из дома тренировал связки, отогревая горло чаем с мятой и зверобоем. Прислушался. И птицы умолкли, и дыхания рядом не слышно, однако он был уверен: человек — человек ли? — был еще здесь.

Время уже потеряло свой смысл, свое значение, вообще все свои признаки. Утек песок — и время кончилось. Как там в детской книжке, он же помнит: сказка о потерянном времени. Он, как и многие вокруг и около, терял и терял время, а потом оно само потерялось... Тихо. Скорее всего, некто ушел. Едва

шевелинулась досада: как так, почему не окликнул, не тронул за плечо, как-никак лежит человек на холодной земле. А впрочем... Кто бы это мог быть? Соседи сюда отродясь не заглядывают, жена? Когда она уже была беременна вторым, они сняли на лето деревенский дом в селе Бобровка неподалеку от Барнаула. К тому времени она едва проговорила, что хочет вернуться в Питер, он даже не придавал значения мимолетному разговору. А вот ссориться они стали часто, может беременность была тому виной, кто знает. В один из приездов к семье на выходные художник не застал никого дома. Развернул машину и поехал на берег Оби к месту, которое они облюбовали с первых же дней в деревне. Лес в том месте подступал к самому срезу высокого берега, а подошедшему к краю обрыва открывался тот щемящий вид, какой могут наблюдать жители России во многих краях и всях: широкая лента реки, зеленые луга — необъятный простор, уходящий в дымку у окоема. А внизу подрастающий сын, жена со вторым сыном во чреве, такие близкие, родные, незащитные и очень точно и тонко вписанные в этот опьяняющий пейзаж.

Вслед за росписью на речном вокзале были изготовлены мозаики «Хлеб Сибири» для зональной выставки, несколько мозаик для дворца культуры моторостроителей, столешницы «Колывань» и «Вазы Колывани». Восемь крупных мозаичных панно для метро «Сибирская» Новосибирска. А жена все настойчивее говорила о возвращении в Питер. Дети подрастают, надо думать об их образовании, с питерской квартирой что-то решать, появилась возможность ее расширить, а для таких дел необходимо присутствие там.

Душа рвалась в Колывань. Он уже перестал считать дни, проведенные в городе и там, как ни считай, там их получалось больше. Семья, работа, дом. Дом, семья, работа. Меняй местами как угодно — что-то опережает, что-то отстает.

Ему не надо делать усилия, чтобы оживить в красках и подробностях каждый день, проведенный в Колывани, а уж эти... На заводе идет подготовка к экспедиции на Коргон, за камнем. Это бывает обычно к концу августа, когда вода в горных речках падает до минимума, открываются броды к труднодоступным

местам, где самые лучшие залежи порфиrow и яшм. Художнику особо собирать нечего, весь походный скарб при нем, в рюкзаке. Раньше всех готовый к отъезду, неутомимый рассказчик, знающий историю, Дударенко развлекает художника разговорами.

Раньше, бывало, на несколько месяцев уезжали. Бабы плакали, как на войну провожали. Едва соберут мужиков в кучу — они опять по деревне разбредутся, пьяные все, за баб цепляются. Их опять в кучу, они снова, гляди, утекли. Наконец, соберут подводы в обоз — и поехали. Какие теперь подводы! Два мощных трехосных ЗИЛа: в одном оборудование, плетеные из тросов корзины для крупных камней, в другом палатки, вещи, сами заготовители.

Дорога сначала пошла извилистой лентой между невысоких холмов, затем они становились все выше, выше и, наконец, перешли в горы. Вдали открылись Королевские белки, гора Разрабочая, откуда добывают белореченский кварцит. Проезжают мимо деревень Усть-Белая, Чинита, Тулата, Косолапово, Сентелек. Последний населенный пункт на их пути — деревенька Коргон, за ней переправа, которую решили проходить завтра, ночевать будут здесь. Быстро набрали дров, сварили суп из тушенки, палатку решили не ставить, спать в кузове, на открытом воздухе. Однако никто не уснул, разговоры разговаривали, все о заводе, его перспективах. Молодые художники, приехавшие с Урала, чем-то напоминали комсомольцев, отправившихся на Всесоюзную ударную стройку, энтузиазма — через край. Хорошо художнику с ними работать: дней-ночей не разбирают, стоит только зажечь идеей.

Утром переехали через речку Коргон, прибыли на основную стоянку, которую пользуют из года в год. Вода в реке бирюзовая от глубины, ее там не разобрать — где метр, где все пять. Напротив стоянки отвесная скала, по ней ручьи серебрятся, рассыпаются в скором своем беге. А тут и дождь взялся не к месту. Хотя как посмотреть: с одной стороны скользко передвигаться по камням, с другой — вода обнажает рисунок на них. Здесь многоцветные яшмы, порфиры (помимо основных цветов, бесконечные цветové растяжки). А вот камень, в который художник влюбился, как в живое создание, — в каталогах его вроде

нет, а кто-то назвал античной яшмой. По бело-розоватому полю (напоминает цвет малахита) многочисленные дендриты, окаменевшие растения.

На следующий день отправились к Чертову мосту. Трудно сказать, когда он был сооружен, в книге академика Ферсмана есть его фотография, датированная 1904 годом, и там этот мост. Вьючная тропа круто забирает вверх, по дождю идти трудновато. Здесь, наверху, кажется, что горы, образующие глубокое ущелье, вот-вот сойдутся, раздавят всех, осмелившихся нарушить их покой. Вот и огромные валуны, на которых писатель Александр Родионов, историк, краевед и геолог, во время прошлой экспедиции прочитал даты, сделанные заготовителями еще в девятнадцатом столетии. Тогда эти огромные камни заковывали в бревна, распиленные вдоль пополам, и спускали вниз, к воде, дожидаясь ледостава, чтобы вывезти заготовки и отправить на завод.

— А нынче при всей технической мощи — никак, — посетовал тогда краевед.

Намерзлись в походе. Сложили из камня тигель, распалили костер, накалили валуны, накрыли палаткой — баня получилась на зависть самым лютым парильщикам. А из ее горячего чрева да с маху прямо в ледяной Коргон! Ммммм! А потом костер да ужин под рюмочку, и опять разговоры, разговоры. Все, работа закончена, завтра в обратный путь. А неохота, ей-Богу! Художник отошел в сторону, лег на просохший брезент. Неба нет, гор нет, воды нет, а над головой в сплошной черноте огромные звезды. Вот бы купить в Колывани дом, красивые места, заповедные. Жить здесь, и пускай дети смотрят на то, что есть настоящее в этом мире...

Время шло. О Колывани заговорили с новой силой. Вроде бы у государства начал пробуждаться интерес к продукции камнерезов. Художник во всех подробностях помнит, как приезжала комиссия Совета министров РСФСР. Вот они разглядывают вазу, сделанную для краевого драмтеатра, для автовокзала — красавица из зеленоватого амазонита, вот трогают руками его столешницу. А вечером важные люди сидели с ними вместе за столом и пели песни. Но больше говорили о необходимости ориентировать завод на связь с архитектурой.

— Поймите же, — горячился художник, — мы никуда не двинемся, если будем делать бусы да пепельницы с чернильницами! И здесь первое слово за вами, за властью! Именно от государства должны в первую очередь поступать на завод серьезные заказы на крупные изделия!

Свет, тьма, что там на дворе — день, ночь? Рука, подложенная под голову, не дает ничего видеть, а стронуть ее с места нет сил. «До весны совсем немного, — отчего-то подумалось ему, — два месяца, даже меньше. А там новые соки жизни войдут во все земное». И в него... Вот что он еще должен сделать, причем незамедлительно — написать письмо другу в Барнаул. Он напишет: «Здравствуй, друг мой дорогой! Очень долго нет письма от тебя, а ведь это единственная живая связь с тем желанным миром, который я покинул по своей воле, получив взамен предательство. Да, нужно было жить, пускать корни там, в Колывани, но это в той ситуации было нереально. А нынче мой поезд ушел, оставив меня на полустанке удивленным и больным. Побывав в больнице во второй раз, я остро почувствовал необходимость в общении с близкими мне людьми. Есть у больницы такое свойство — открывать шлюзы для сокровенного и откровенного. Когда мне особенно плохо, я вспоминаю, как мы возвращались с рыбалки, говорили необыкновенно важные вещи, и слова летели впереди нас... Хочу подарить тебе два натюрморта, один из них с апельсином (помнится, ты просил именно такой в пару к тому, что висит у тебя в кабинете), думаю, придется тебе по вкусу и дополнит твою коллекцию. Я начал несколько рисунков, эскиз Коргона для новой колыванской мозаики, но понял, что без письма к тебе все это будет вялым, никчемным... Как дальше? Для чего? Для кого? Сложно свыкнуться с мыслью, что этот загородный дом, эта мастерская — последнее прибежище одинокого человека. Но ничего, сейчас главное — прописаться, а то ведь в настоящее время я бомж. Детям теперь здесь ничего не нужно, они купили квартиры. Не расстаюсь с мыслью побывать еще хоть раз на Алтае. Мои проекты там пробуксовывают. Директор, закинув зерна надежды на перемену обстоятельств, спрятался, не отвечает на звонки. Обидно, нехорошо перед людьми, готовыми на действия, связанные с участием в новых программах. Не хочется

загадывать, но на всякий случай задам вопрос: а смог бы ты дней десять-двенадцать выкроить из своей жизни и поехать со мной. Бензин и прочие расходы беру на себя... Думаю на девятое мая собрать у себя старых товарищей Ивана Корнева, Игоря Нахимова, давно хотел познакомить тебя с ними. Приезжай. Сядем, выпьем, помянем отцов наших, фронтовиков...»

Внезапно совсем рядом, возле самого уха художника раздался вороний крик. Он не был дерзким, бранчливым, сутяжным, как чаще всего бывает у этих птиц. Ворона как-то простужено и зовуще прохрипела.

— Кххххх, — сказала она.

И опять тишина, стылое безмолвие и растерявшееся время.

Разговор в мастерской художника. За столом хозяин с женой и писатель Александр Родионов.

— Колывань известна вон с каких времен, а тогда в Барнауле почему-то не осело ни одно изделие завода. Странно, центр Колывано-Воскресенского округа.

Родионов промолчал, думая о чем-то другом. Он будто бы не услышал, о чем только что сказал художник.

— В пятидесятых годах девятнадцатого века в Барнауле была открыта лавка, в ней печатями торговали. В том числе каменными. Через полтора года лавочник разорился.

— Вот-вот, мелочевка опять, пепельницы, подсвечники. Что, по-твоему, нужно Колывани, чтобы подняться наконец?

— Во-первых, энтузиаст-художник, который сидел бы на заводе безвылазно, во-вторых, материальная база, оборудование современное, в-третьих, сбыт, рынок.

— Да это ж главное! — горячился художник. — Они сейчас сидели б, мух ловили, если бы не наши заказы. По местному, кому они нынче подчиняются, невыполнение плана на два миллиарда, все заказы кончились, мелочевка никому не нужна. Надо привлечь Госстрой, кто этим будет заниматься? Вот этот заказ, который я сейчас притащил на завод, ты думаешь, как я выбивал? Да через Москву и никак иначе. Сколько я там порогов пообивал?

Он обратился к жене, та в ответ только руками развела

— Надо всю работу завода поставить на производство крупных монументальных изделий. Что сегодня в Эрмитаже

из колыванских работ, пепельницы, подсвечники? Нет, брат, и ты знаешь не хуже меня, там торшеры, каминны, вазы. Вот оно, лицо завода. Помимо всего прочего, надо давать заводским художникам экспортные заказы.

— Ты думаешь, это выход? — поднял кустистые брови Родионов. — Мы говорим о будущем, а смотрим куда-то в сторону. Убеждать через границу — в России уже были прецеденты — это все равно что вывозить из страны ценности. И потом. Много камня сегодня — это не означает, что его будет много завтра. Как бы там ни было, это невосполнимый продукт...

Не-ет, надо как-то находить силу, надо подниматься, идти. Ведь ребята ждут, им только дай отмашку. Как любил повторять его друг из Барнаула: «Господь не отпустит тебя с Земли, пока не исполнишь назначенное им».

— Ты сможешь!

— Не могу.

— Сможешь!

— Не могу...

Он пытается, честно, пытается изо всех сил, но отчего-то не может добиться даже малейшего движения своего тела, оно как будто застыло, окоченело это его огромное, могучее тело, которое — давно ли? — двигало полутонные камни там, на Коргоне, таскало по тайге сорокакилограммовые рюкзаки, вытаскивало застрявшую в грязи машину...

В то лето было много работы на заводе, он неделями, месяцами пропадал там, иной раз забывая сбегать в столовую. А жена тем временем собиралась в Ленинград, для нее никаких сомнений в отъезде не оставалось.

— Остаться! Остаться здесь навсегда, — поднимался в нем голос творца.

— Надо ехать, это необходимость, — возражал глава семьи.

— Остаться!

— Нельзя, не имею права!

Он прошел вверх по улице Парижской, поднялся на взгорок за селом, присел между редких сосен, сбежавших сюда из леса. Отсюда вся Колывань как на ладони. Отдельные знакомые дома хорошо различимы: вон усадьба Володи Сапрыкина, неподалеку

дом Саши Дербенева, а вот — Бориса Пчелинцева... Завод, плотина, водохранилище, школа, музей — все, к чему за эти годы приросла душа. Прощай, Колывань, увидимся ли когда?

Он приезжал. Спустя годы. Приезжал и раз, и два, и три. С новыми заказами, с новыми проектами. Один из выполненных крупных заказов того времени — мозаика для театра «Новая опера» в Москве. В последний приезд — было это после инсульта и операции на ноге — он уже едва передвигался. К тому времени на заводе был пущен новый цех, который стал основным в производственном цикле. Здесь пилили бордюры из гранита, изготавливали памятники, надгробья, делали даже вазы и мозаики, но заказы на них носили случайный, эпизодический характер. Хочешь не хочешь, к новой жизни, как и всем его сверстникам, приходилось привыкать, но привыкнуть окончательно вряд ли кому по силам. Новое из нового — заказы на крупные вазы из знаменитой ревневской яшмы, из порфиров, облицовки для каминов — стали поступать от частных лиц.

— Что это за лица такие? — задавал он ненужный вопрос Родионову, сидя в его игрушечной квартирке, на пересечении улиц Пушкина и Горького, разглядывая коллекцию камней писателя и геолога.

Хозяин квартиры в то время был глубоко погружен в историю, он работал над историческим романом «Князь-раб». Выплыв из своей глубины, он внимательно посмотрел на художника, плеснул в стаканы и сказал:

— Да не расколется твой камень!

Перед возвращением домой художник прошелся по городу, увидел, что постамент под его вазой зачем-то укоротили, воду из бассейна под ней убрали, и он зиял какой-то ненужной дыркой в земле. Ножка вазы потрескалась. В гостинице он написал письмо и попросил своего барнаульского друга передать его городским властям.

«Всю архитектуру необходимо вернуть к первоначальному замыслу, то есть восстановить бассейн, в который была поставлена ваза на пьедестале. Зеркало воды было задумано не по чьей-то дурной прихоти, оно углубляет пространство, дает дополнительный объем всей композиции. Нужно увеличить

вертикаль, кому-то же пришлось в голову укоротить пьедестал! Необходимо реставрировать основание вазы, оно все в трещинах. Нужно вернуть на место картуш, где значилось: «Ваза 250-летия города Барнаула. Дар колыванских камнерезов городу». В случае восстановления вазы не лишне будет напомнить колыванцам, что между деталями ее необходимо делать свинцовые прокладки, тогда не будет таких разрывов. И вообще — памятник этот уже история, за ним надо ухаживать, заниматься благоустройством окружающего пространства. Ценить, хранить, а не бездумно корректировать придуманное специалистами».

До сей минуты художник не мог различить дня и ночи. Может, и день-то единый не успел уйти, счет времени потерян. А глаза не видят, не открываются. Но вдруг он почувствовал темноту, именно почувствовал, не увидел. Значит, вечер, значит, ночь... Память вернулась к недавним дням, когда он справлял свой юбилей в кругу семьи. Да-да, своей семьи, слышите? Отец, ты меня слышишь? Я сказал своим детям, чтобы они разделили мой прах надвое, часть отвезли и подхоронили в твою могилу в Ростове, а другую развеяли с вершины горы Синюхи, над Колыванью... Да, батя, много после тебя ушло родных, близких, знакомых. И как верно придумана поминальная молитва на всех: «Сохрани, Господи, души родственников, семейников, благодетелей... Прости им согрешения вольные и невольные и даруй им Царствие небесное!» Что это со мной? Никогда не помнил, не знал ни одной молитвы. А впрочем, вероятно, как всегда, ошибаюсь. Наверно, с возрастом надо забывать слова «никогда», «непременно», «обязательно», «безусловно» и прочие из этого ряда.

Ольга Родионова

Родилась и выросла в Барнауле, жила в Омске, Тобольске, Ленинграде. В 90-е годы покинула страну, уехав в США, но связи с Россией не теряла. Публиковалась в журналах «Знамя», «Новый берег», «Арион». Три книжки стихов вышли в издательствах «Геликон» (Санкт-Петербург) и «Амфора» (Москва). В 2010 году стала лауреатом международной литературной премии «Русская премия». В конце октября 2020 года Ольга с семьей вернулась в Россию, живет в Барнауле.



снова внутри от нежности мёд и лёд,
тонкая замирающая игла.
тихо помешивает над головой пилот
небо, и всё напрасно, и все дела.
тихо подвешивает над головой в дыму
снежном воронку, веер, ночной огонь.
нежность, не выносимая никому,
мёрзлой пчелой жалит и жжёт ладонь.
вынеси мне из своего тепла
летнего мёда милость, слизи слезу.
даже под снегом, брат, даже тут, внизу,
сердце сосёт мучительная пчела.
были мы ветрены, стали мы дураки
и вертопрахи, тает наш вертоград.
некому нас мёдом кормить с руки
даже под снегом. даже под снегом, брат.

Целуясь в пустынном сквере
(Ворованное — вкусней!),
Мы чувствуем вкус потери
Всё явственней, всё ясней.
Куда нам податься, беглым
И каторжным, с этих мест,
Где женщина взглядом беглым
Окинет наш цепкий жест,
Где мокнут пустые шляпки
От лаковых желудей,
Где утки скрывают лапки
Несбывшихся лебедей,
И арка серого зданья,
Укрывшая тень греха, —
Уродливое создание
Эпохи ВДНХ,
Где улочка вбок, как выход, —
Обманчива и узка,
И твой полумёртвый выдох
В тепло моего виска.
Обрывок газеты: «...будущ...», —
Платок!.. Кошелёк, ключи...
— Не плачь, ты меня забудешь.
— Забуду. Но замолчи.
Ворона у водостока,
Безрадостный дождь с утра.
Твой голос: «Как жизнь жестока!»
И мой: «Как она мудра!..»
И словно бы для примера —
Качели: то вверх, то вниз...
И маленькая химера,
Вцепившаяся в карниз.

Ты вернулся, Кай, ты вернулся в наши края,
В наш двухцветный, снежный, алый и белый мир.
А пока ты брёл, собирала ледышки я,
А пока ты брёл, уходили твои друзья,
Завернувшись в холод, болезни, гордость, тоску и мор.

Как там вечность, Кай? Незыблема, как скала?
Ты считал до ста, чтоб увидеть меня во сне?
Я замерзла, правда, я долго тебя ждала,
Закрывала ставни, а там — силуэт в окне.

Я топила печь, дурачок, я топила лёд.
У реки, где ты никогда не топил котят,
Я пустила алые туфли по воле вод,
Я реке подарила туфли свои — и вот
Ты вернулся, Кай, а снежинки летят, летят.

Серый ветер осени дует тебе в ребро,
Ты вернулся, Кай, замороженный, как судак.
Ты, забыв дорогу, топчешься у метро,
Ты считаешь мелочь — бедный, иди сюда.

Ты вернулся, Кай, на ресницах твоих вода,
Ты считаешь мелочь, голову опустив.
Ты бродил, а вечность тихо вошла сюда,
И сложились сами кубики изо льда
В мой любимый, алый и белый, простой мотив.

Ребёнок в матроске, на лбу — горделивое «Витязь»,
Зачем вы мне снитесь?

По берегу моря, по кромке, по краю, где крабы,
Я тихо следы оставляю, прошедшее скомкав.
Здесь время и место вполне безразличны, хотя бы
И выдумал кто-то такой календарь или компас.

На этом песке те же чайки, что в самом начале
Ещё не написанной книги, как дети, кричали.
Но вы, лейтенант с улетающим взглядом поэта, —
Зачем вы мне, Отто?

Меня не пугает к ногам подступившая бездна,
Гораздо страшнее провальная синь между тучек.
Я прутиком имя черчу на песке бесполезно —
И чёрный, как прутик, из пены кивает поручик.

Зачем Тебе, Боже, кормить нас, пустых недоносков,
Не знающих броду, не помнящих выхода к дому?
За нами лишь барышни в шляпках

и дети в матросках —

Как кто-то сказал, не умея сказать по-другому.

Ну, что вы так смотрите, ангелы, божьи сироты?
Иду, наступаю на краешек мокрого шара,
Который по-прежнему вертится, и обороты
Всё той же длины — беззаботного детского шага.

И каждый мой след, год за годом, зима за зимою —
Смывается в море.

на юг, на юг, где ангел сломал весло,
где кто-то на небе пишет, а я читаю слова,
на юг, где станет, как раньше, мне весело,
возьмите меня, я стала совсем слаба.

от этой зимы ледяной возьмите, купите сладостей,
какой-нибудь хоть леденец,
я в желаньях вполне скромна,
петушок на палочке, простенько, без затей,
возьмите меня на юг, там всегда весна.

я не стану просить невозможного, поцелуев в меду,
вкус миндальный, медальный профиль,
стальной живот,
я постою в сторонке, попросите — отойду,
заболит — подую, до севера заживёт.

на юг, моя радость, лечить надоевший кашель
атласной кожей, сиропом мятным и манной кашей,
где на небе пишут, что всех нас любят весьма,
где всегда весна.

Не в этот час — рассветный, дождевой,
Не в этой точке сжатого пространства
Ты выйдешь вон, как бабочка из транса,
Раскрыв прозрачный зонт над головой.

Не твой поспешный шаг расколет двор
На тысячи неуловимых капель,
Сложившихся, как бус драконий камень,
В бессмысленный невидимый узор.

Не ты, не ты, не ты из темноты
Бежишь стремглав, зонта не закрывая,
На свет метро, на гул, на звон трамвая,
На остановок мокрые цветы.

И не твоя забытая душа
На том краю, за кромкой дождевою
Наколота, дыша и трепеща,
На острый шпиль, парящий над Невую.

Спляшем, Пегги? Осеннее пламя твоей головы
Приостынет к весне,
ты начнёшь разводить маргаритки.
В опрокинутом городе ангелам хватает травы,
Чтоб легко пробежать, не примяв, от окна до калитки.

Этот грустный полковник Апрель, наблюдатель планет,
Орнитолог и ангел, читающий умные книги,
Прогулялся б на мост Поцелуев, да времени нет:
От рожденья аскет, или носит под платьем вериги.

Как его целовать, если он — отраженье в реке?
Ах, как грустно-то, господи... вот и твои маргаритки,
И мои незабудки лежат на прибрежном песке,
Как небрежный набросок
к дешёвой пасхальной открытке.

Спляшем, Пегги! Обманчивый город, сводящий с ума,
Машет серым крылом, отсыревшими машет холстами...
Ничего, ничего! Вот закончится эта зима —
Мы вернемся сюда, где плывут кораблями дома,
Целовать отраженья полковников между мостами.

Черубино

Ане и Вадику

1

Черубино, дух трамвайный, воробей в вагонной давке,
О, поймайте, удержите, дайте, дайте!..

Что за слово «перекресток», что за корень мандрагора,
Что за город, мой прекрасный, что за город?..

В нём живут чужие птицы — те же люди, но в полёте,
В нём гнездится дикой жабой ангел кашля и ангины,
Бедный мальчик, не сердитесь, не скучайте, не болейте,
В этом городе все люди андрогинны.

В этом городе неправедном руками не поймать
То, что хочется потрогать и сломать.

Ну, поймайте же его, он так колотится о стёкла,
В это солнце, в эту жесьть, в этот жёлоб кровостока,
В эту жалость, в эту нежность,

в этот город воробьиный...

Дух трамвайный, Черубино. Ад кромешный, Черубино.
А поймаешь — просто птаха, ком отчаянья и страха,
Ну кому она нужна?..

Город бредит мокрым мартом,

и бредёт по странным картам,

По трамвайным путям весна.

2

В этих арках гнездится страшная инфлюэнца —
Замотайте плотнее шейки, надвиньте шапки.

В этом городе очень просто откинуть тапки,
Если небо с утра откалывает колена.

То свистит, то, простите, воеет античным метром,
Это дождь или всё же снег?.. Я не знаю, помесь.
Вот несчастного одного подхватило ветром —
Он на зонтике улетает, как Мэри Поппинс.

Я этих сказок немало знаю, но эту — спрячу:
Зачин тревожен, сюжет банален, финал заманчив...
Я сочиняю её, смеясь, и немного плачу –
Чтоб вас утешить,
Тщеславный мальчик.

5

Ты и не знаешь, как ты любима,
А ведь это просто, как дважды два,
Моя маленькая Черубина,
Девочка Зелёные Рукава.

Ах, не умею я пасти народы,
А то бы были вы почти цари,
Мои восхитительные уроды,
Мои отродья и упыри.

Остановитесь вот в этом ракурсе —
Щёлк – и вылетела душа,
Весело насвистывая оду к радости
И птичьими пёрышками шурша.

0

В пятом часу утра, в марте,
Отыскиваешь на карте
Город, провал двора,
Окна,
Потом одно
Окно.

На стекле, наклепленный криво,
Лист альбомный:
«Я никогда не забуду Рио-
де-Жанейро и жар любовный».

В каждой девочке в этом городе
Гнездится мальчик.
В каждом мальчике — ангел.
В ангеле — игла.

И в завершение этой сказки
Я хочу сказать вам, что вы хорошо устроились,
Птенцы гнезда Петрова —
Городские сумасшедшие,
Мусорные воробьи,
Анхель и анхель.

У вас весна.
Поэтому я никогда не забуду Рио-
Де-Жанейро.

Театр

...Ах, разве это жизнь?.. За дудочкой, за лесом,
За стрелками травы, за тридевять утрат..
Держи меня, держи, мелодия, залейся
Своей печалью, брат.

Веди меня, веди, куда бы ни глядели
Глаза твои — не так! — глаза часов, играй
До окончанья слов, до онеменья в теле,
С корзинкой, полной крыс, —
За дверью в рай.

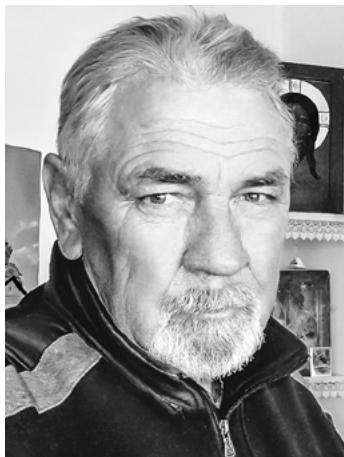
Играй, циничный шут, бесплотная дешёвка,
Всеплощадной пасьянс оборванных афиш.
Мари-Антуаннет в оборочках из шёлка, —
Молчишь?

Ступаем на песок на каблучках и лапках,
На цыпочках — цып-цып, на стрелочках — цок-цок,
В испуганных мехах и царственных заплатках,
Ступаем на песок.

И мы идём туда, за дудочкой, — не буду,
Не пророню, не тронь, не надо, уходи...
Настанет тихий час — нас заберут оттуда,
Как сердце из груди.

А мне, гляди, идёт фарфоровая плаха,
И этот серый плащ, и этот алый рот.
Терпи, не умолкай, соломенная птаха, —
Пускай она поёт.

Пусть будочник храпит, пусть лодочник полощет
Весло, и пусть вода подмочит нам хвосты
И шлейфы... разгляди затопленную площадь:
Там, в уголке — не ты?..



Юрий Кучумов

Родился в 1955 году в поселке Котово Волгоградской области. Окончил Казанский строительный институт. Работал на стройках КамАЗа, санитаром в психиатрической больнице, сторожем и дворником в детском садике, журналистом в различных печатных изданиях Набережных Челнов. Печатался в республиканских газетах и журналах. Автор книг стихов «Ночные прогулки» и «Странно-приимный дом». В настоящее время живет в Волгоградской области.

Мама

У окна перекошена рама,
приоткрыть можно только на треть.
У окна терпеливая мама
ждёт свою заплутавшую смерть.

Смотрит вдаль отрешённо часами,
теребит бесконечно платок.
За долами, горами, лесами
всё звучит ей какой-то манок.

Мама, мама... Вот адова мука —
этот холод уже не согреть.
Разве только держать твою руку
да в окошко с тобою смотреть.

Бабушка вяжет

Бабушка вяжет и тихо поёт —
детство моё утепляет.
Всё очень просто — две петли кладёт,
следующую спускает.

Время, как пряжа, скаталось в клубок —
тоненькой ниткой струится.
Мальчика с пальчик, нет — с ноготок,
замерзали спицы.

Что пригорюнился ты, голубок, —
страшно колдуют спицы?
Вон как уже истончился клубок —
это тебе за тридцать.

Мальчик устало газету кладёт,
мальчик глаза прикрывает...
Бабушка вяжет — две петли кладёт,
следующую спускает.

Не искупит тоски, не утешит
в час полночный слепое окно.
Где внезапно вьюгой кромешной
половину земли замело.

Вот такие вселенские прятки —
будто жизнь в эту ночь утекла...
Даже лба, даже губ твоих жарких
не остудит бесстрастность стекла.

Обречённость в полоске карниза
не укроют снежинок штрихи.
Так уходят внезапно из жизни.
Так пожизненно пишут стихи.

Тишину мою двигают ходики:
тик, тик-так, молоточками бьют...
Залетели метели во дворики,
словно лисы хвосты свои вьют.

Февраля неизменны приметы —
шарф на горло да тёплый халат.
И моя половина планеты —
с белизною больничных палат.

Жизни вес перешёл уже в граммы...
Оболдуй, что ж я плохо учил:
что там мыла в учебнике мама —
может, раму? Я всё позабыл.
Лишь закат, да унылые ходики,
да прицел в перекрестии рам...
И цежу, как цедят алкоголики,
своей жизни последних сто грамм.

Час вечерний надвинет забрало,
сократив горизонты на треть...
Жизни мало, ах, как её мало —
разве только успеть умереть.

Сижу, как кот, на солнцепёке,
отогреваюсь от зимы.
О жизни думаю, о Боге,
о пережитках старины.

Над крышей солнышко в улыбке,
сосулек свесились носы —
они ведь тоже пережитки
для наступающей весны.

Мы вместе киснем под лучами,
но это только так, на вид.
Душа парит под небесами,
и телогреечка — парит.

Витрины моют. И окошки
бесстрашно в мир растворены.
Мир юн и свеж. И всё ж немножко
он пережиток старины.

Дядя Саша

Дядя Саша — добрый ветеран.
Не ворчит и попусту не злится.
Дом его, открытый всем ветрам,
почему-то нравится синицам.

Я сижу с ним рядом и молчу,
внемлю байкам старого солдата.
Птицы скачут по его плечу
и клюют из телогрейки вату.

Он бубнит и ёрзает плечом —
как в бою был ловок и бесстрашен.
Но синицы знают что почём:
знай себе долбают дядю Сашу.

Дядя Саша — полный кавалер,
грудь его по праздникам — лучится!
Я молчу. Я только пионер.
Мне на плечи не садятся птицы.

Дочурке я даю советы,
как взрослою скорее стать,
я говорю: «Вот будет лето,
а летом лет нам будет пять».

Но отвечает дочка просто,
(ей просто верить в простоту):
«Нет, папа, я не буду взрослой,
а то я взрослая умру».

И дальше весело продолжит
свою куклѣшную возню.
Я отвернусь, подумав: «Боже...»
И слов, конечно, не найду.

Откуда этот лёд и зной
в тебе, Марина?
Что ни прохожий — стороной,
чужак, чужбина.

Война, разор, несносный быт —
всѣ мимо, мимо...
Уж вся Елабуга горит
твоей рябиной.

Уж август отвернул лицо —
не хочет зняться.
Взойди на низкое крыльцо
Покровской, 20.

За ненасытность жить и быть,
за вкус малины,
за гордость жадную платить
тебе, Марина.

В помин души и в знак любви
поставлю свечку —
пусть все прохожие твои
ТАМ будут встречены!

Малая родина

Милая малая родина,
вот и вернулся я в срок.
Пыль, да ковыль, да смородина
вдоль твоих лёгких дорог.

Степь под колесами стелется,
словно линялый платок.
Белое облако пенится —
тушит горящий восток.

В памяти детские родинки:
мама, сирень, сизари...
Ждут меня, милая родина,
светлые речки твои.

Ночь и костёр одинокий,
всплеск на вечерней воде,
свет от созвездий далёких,
льющийся с неба ко мне.

Словно улыбкою маминой
здесь я согрет глубоко.
Если ты, родина, — малая,
что же тогда велико?

Из детства

Плыл томительный август, варили варенье,
всей семьёю ходили в кино —
это лето девятое от исчисления
рождества моего.

Это коврик у койки цветастый, тряпичный
и рубахи пузырь за спиной.
Это сбор на помойке коробочек спичечных
под азартные крики: «Чур, мой!»

Это наши следы во саду-огороде,
это бабушкин зонт-парашют.
И пожизненный принцип, присущий природе,
что лежачего просто не бьют.

Пустьячки в череде судьбоносных событий,
отчего же в себе я несу,
как мне парили пятки и цыпки в корыте,
как варили варенье в тазу?

Что казалось мне главным — навек забывалось.
Загляжусь в своё детство, а там —
на крылечке с котёнком сидит, забавляясь,
в синей майке худой мальчуган.

Ссора

Слов кирпичики класть ты умела...
И росла между нами стена.
Как ты, бедная, похудела!
Из тебя выпирают слова.

Где ж ты слов этих гадких сыскала?
Видно, в наших очередях.
Впрочем, чтобы тебе полегчало, —
бормочи, топочи в сердцах.

А потом, в этом хаосе жутком,
постараюсь поспеть к утру:
развинчу твои фразы по буквам —
дочке азбуку соберу.

Приезжай ко мне, сын мой Глебушка,
отыщи в степях ты мой дом.
Я попотчую тебя чёрным хлебушком,
напою тебя молочком.

Подломилась у нас к Богу лестница,
да не тужим мы, а живём.
Наклонила ковш к нам Медведица,
мы с ковша того воду пьём.

В полстепи легла тень орлиная,
от краёв земли — на восток.
Расплетёт косу моя милая —
побежит река за порог.

Ну а коль тоска сердце застила,
мы такую песнь запоём —
не случись допеть её засветло,
мы и затемно допоём.

Приезжай ко мне, сын мой Глебушка,
отыщи в степях ты мой дом..



Павел Рябов

Родился в 1977 году в городе Алмалыке. Окончил факультет политологии АлтГУ. Работал в телекомпании «Катунь», занимался фрилансом. Сейчас работает видеоредактором.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР

Сейчас этот город называется Гулистан, а в советское время назывался Кайраккум. Вообще-то это даже не город, а агломерация из трех сросшихся городков — Кайраккум, Ленинабад (ныне — Худжанд) и Чкаловск (ныне — Бустон). Тогда это мне показалось странным и удивительным. Мне было восемь лет, и я искренне не понимал, как один город может быть тремя городами. Зачем нужна вся эта путаница? Где кончается один населенный пункт и начинается другой? «Тогда» — это в 1985 или 1986 году. Моя мать только вышла замуж за моего отчима, и это было своего рода их свадебное путешествие, обремененное моим присутствием.

Бог знает, что надоумило их выбрать для «медового месяца» именно это загадочное «Таджикское море». Так называют Кайраккумское водохранилище. Для меня, на тот момент не видавшего никаких морей, оно действительно было морем, хоть вода в нем была пресной, а на другом берегу проступали в солнечном мареве далекие горы.

«Море» было главной достопримечательностью для нас. Уж не знаю, почему мы не уделяли времени древним согдийским памятникам, старым мечетям и крепостям, сохранившимся в этих местах, каждый день отправляясь одним и тем же маршрутом к водохранилищу. Впрочем, мне, впервые погрузившемуся в среднеазиатский колорит, впечатлений и так хватало. Я хоть и родился в Узбекистане, но мне еще не исполнилось трех лет, когда мать развелась с отцом и перевезла меня в Барнаул. Единственное мое «узбекское» воспоминание (и, пожалуй, первое воспоминание в жизни) — исход — картина вечернего или даже ночного аэропорта: мама со мной на руках бежит к трапу самолета. Похоже, опаздывает. Больше ничего оттуда не помню, да и не исключено, что и это воспоминание я себе выдумал. Так что в Таджикистане для меня все было новым, экзотическим, сказочным. Но, пожалуй, стоит начать по порядку.

Погружение в Среднюю Азию было постепенным. Из Барнаула (пусть вас не сбивает с толка среднеазиатская нотка в названии этого сибирского города) мы отправились поездом в Алма-Ату. Тогда впервые из окна купе я мог видеть бескрайнюю степь, бредущих по ней одногорбых верблюдов, крутящиеся воронки песчаных смерчей и разливающееся по всему небосводу грандиозное пламя закатов.

В Алма-Ате мы провели почти целый день. Прежде всего там мне запомнились горы — высоченные, синие, с белыми снежными шапками, воздымавшиеся над городом до самых небес. Что степь, что горы поражали своими масштабами, делали нас, людей, и все человеческое ничтожным и мизерным. И безмерность пространства свидетельствовала о безмерности времени, в котором пропадала, словно песчинка, преходящая жизнь человека. Эти ощущения заворожили меня. Было немного страшно и неуютно на фоне такого величия природы, но в то же время ее красота вселяла в душу какую-то трепетную надежду, неизъяснимую возможность вечности. Может быть, это и есть подлинная цель всякого путешествия — не прозаичный путь из точки А в точку Б, не пункт назначения, а все, что между, все, что вокруг, — прикосновение к бесконечному, предчувствие тайны.

Но потребность в самосохранении неизменно отрывает путника от высокого и возвращает к маленьким земным радостям. Из таких в Алма-Ате мне запомнилась прогулка по роскошному ботаническому саду, где впервые в жизни мне довелось отведать «корейской морковки» (морковка была аутентичной, сделанной настоящими корейцами, и жутко острой, не то что нынче продают у нас в магазинах). И хоть рот мой горел после нее в течение целого часа, я потребовал от матери обещания, что она непременно завладеет рецептом этой закуски и будет готовить мне ее дома. Также я узнал, что название города Алма-Ата переводится как «отец яблок» — тоже весьма необычный образ, запавший мне в душу. Как, разве у яблок бывает отец, и кто же тогда их мать? — вопрошал я себя. И мне представлялся проступающий среди гор полупрозрачный силуэт азиатского старца с огромными яблоками в руках. Мама сказала, что именно здесь произрастает знаменитый яблочный сорт, который раньше мне доводилось пробовать. Гигантские ароматные и мягкие яблоки, размером почти с мою детскую голову. Теперь, говорят, этот сорт вывелся, а жаль.

Кажется, это всё, что запомнил я из Алма-Аты.

Дальнейший наш путь мы проделали на самолете. Самолет был относительно небольшой, какая-то из разновидностей «Ан». Его пропеллеры гудели так громко, что трудно было разговаривать внутри салона. Приземлились в аэропорту города Чкаловска. Помню, когда мы вышли наружу, в лицо мне ударил горячий ветер. Я словно очутился на другой планете и не представлял, как здесь можно дышать и вообще жить. +40 градусов летом здесь было делом вполне обычным. Никогда раньше я не испытывал такой жары и кое-как дошел от самолета до здания аэропорта.

Дальнейший наш план был прост: из Чкаловска взять такси до Кайракума и снять там жилье у частных поближе к водохранилищу. Однако когда мы сели в такси, нас ожидал неприятный сюрприз. По дороге нам бросалось в глаза множество разрушенных строений, словно город пережил мощную бомбардировку. Вокруг рухнувших зданий и просто по обочине дороги располагались многочисленные металлические бытовки, в которых ютились местные жители. Не представляю, как на такой жаре жилось им в этих раскаленных вагончиках.

— Что это? — спросили мы у таксиста.

— Как? Вы не знаете? — удивился он. — Прошлой осенью у нас было землетрясение.

Нет, почему-то мы этого не знали. Видимо, советская пресса не очень широко освещала это событие. В скудных сведениях, которые мне сейчас удалось разыскать об этом событии, говорится о 29 погибших и около ста раненых. Но судя по масштабам разрушений, которые мы могли видеть, скорее всего, жертв было намного больше. Официальные данные говорили о мощности толчков в восемь баллов. Местные уверяли, что сила землетрясения достигала 9,5 баллов и специально занижалась властями, чтобы не впускать «Красный Крест» и другие международные организации.

Мы были поражены зрелищем людской беды, вездесущих руин и нашим собственным печальным положением. Если верить словам таксиста да и своим глазам — шансы найти жилье стремились к нулю. Тоже мне — «туристы» приехали. Тут местным жить негде, а что говорить о нас. Я заметил, как побледнели мой отчим и моя мать. Да и сам я, вероятно, тоже. Впервые в жизни я мог наблюдать воочию последствия настоящей катастрофы — катастрофы страшной, нечеловеческой, вызванной необъяснимой прихотью природы. Природа словно снова говорила мне о ничтожности и зыбкости нашей маленькой жизни.

Но что было делать? Мы были голодны и попросили таксиста высадить нас возле уличного кафе на главном Кайракумском проспекте. Время близилось к вечеру, и кафе уже готовилось к закрытию. Мы оказались последними посетителями, из еды для нас нашлись только остывшие манты. Покончив с ними, мы какое-то время сидели в ступоре, не зная, что предпринять, измученные жарой и подавленные ситуацией.

Кафе закрывалось, и совершенно неясно было, что дальше делать, куда идти. Не знаю, почему родители не рассматривали вариант гостиницы, возможно, не располагали соответствующим бюджетом, а может, все гостиницы были просто забиты. Помню только, что мы были в отчаянии. И даже моя детская тяга к приключениям не утешала меня. Приключения хороши в воображении, а не когда ты сталкиваешься с по-настоящему

затруднительной ситуацией в чужом городе. Я уже представлял себе бесприютные скитания по жарким улицам и бездомный ночлег под открытым небом. Было немножечко страшно. А родители, кажется, всерьез рассматривали возможность возвращения назад в аэропорт. Похоже, их «медовый месяц» терпел крушение, не успев начаться.

Ничего не оставалось, мы взяли наши сумки и чемоданы и собрались идти куда глаза глядят. На выходе из кафе нас догнала женщина — та, что обслуживала наш столик. Женщина была русской (примерно половина населения города на тот момент были русскими, другая часть — таджики и узбеки. Сейчас, наверное, русских там совсем мало).

— Не переживайте, — сказала она. — У меня есть свободная комната, вы можете в ней пожить. Пройдите вперед по проспекту одну остановку и дождитесь меня там.

Видимо, она не хотела, чтобы ее коллеги узнали о том, что она решила нас приютить. Мы так и сделали. А что нам еще оставалось? На наших лицах заиграла надежда. Жизнь налаживалась. Все-таки мир не без добрых людей, а Советский Союз — особенно.

Долго нашу спасительницу нам ждать не пришлось. Она быстро закончила свои дела на работе и повела нас к себе домой. По дороге она попросила нас, чтобы для посторонних мы выдавали себя за ее родственников, приехавших погостить. Иначе соседи ее не поймут. Столько людей вокруг находилось в бедственном положении и нуждалось в крове, а она дала приют каким-то приезжим праздным незнакомцам. Мы, разумеется, с благодарностью приняли ее условия. К стыду своему, теперь я не помню имени спасительницы, а между тем, за все время, что мы у неё прожили (около трех недель), она не взяла с нас ни копейки, несмотря на все старания родителей вручить ей деньги. Ситуация довольно неловкая, но таково было время, таковы были люди.

Однако для меня радость от обретения крова была немного омрачена одним неприятным обстоятельством. Пока мы шли на квартиру, мама отвела меня в сторону и потихоньку сказала:

— Обещай мне, пожалуйста, что теперь ты будешь называть дядю Валеру «папой».

Понятно, ей хотелось перед посторонними создать образ благополучной и целостной семьи. Мне пришлось пообещать, хоть это было совсем нелегко. Отношения с отчимом у меня не ладились. Больно тяжелым был у него характер, он стремился вечно держать все под контролем, что плохо вязалось с моим разгильдяйством. Я почувствовал в этой просьбе матери какое-то предательство. Я больше не мог называть отчима «дядей Валерой», но и «папой» называть его язык у меня никак не поворачивался, и за всю жизнь я назвал его так, может быть, раза три, каждый раз испытывая внутреннее противоречие и досаду. Поэтому я вообще избегал каких-либо обращений, и подобная анонимность и безликость общения затянулась на долгие годы, заметно утяжеляя наш быт.

Добрая женщина, приютившая нас, жила неподалеку, одна в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажной «хрущевки». Точно такая же соседняя «хрущевка» представляла из себя груды развалин. Сама хозяйка спала в маленькой комнате, а нас разместила в проходном зале. Так началась наша «курортная жизнь» в городе, почти наполовину стертом с лица земли землетрясением.

Что представляла собой эта «курортная жизнь»? Как я и сказал в начале, — почти ежедневные посещения водохранилища и купание в нем. По дороге туда (иногда пешком, иногда на автобусе) мы неизменно посещали местный базар, где запасались фруктами — сахарными дынями, сочными персиками, спелыми гранатами и виноградом разных сортов. Помню точно, вкус здешних фруктов не шел ни в какое сравнение с теми, что мы могли добыть на наших сибирских рынках. Также на базаре мы ели душистый, только что испеченный в тандыре таджикский лаваш, усыпанный кунжутными семечками, поглощали массивные и невероятно дешевые шашлыки или люля-кебаб, иногда заходили в кафе: кушали плов, манты или лагман (помню, как, впервые пробуя его, подавился непривычно длинной лапшой). В общем, как могли, наслаждались всеми дарами Востока.

На галечном пляже недалеко от дамбы, где бирюзовая Сырдарья переходила в «Таджикское море», устраивали пикники. Обычно, кроме нас, на пляже не было почти никого, или это сейчас мне так кажется. С другого берега в начале водохранилища отправлялся вдаль прогулочный теплоход, но мы почему-то на нем так ни разу не сплавали. Хотя вроде бы собирались.

В «Таджикском море» я учился плавать. До этого я учился немного в бассейне. Но это не в счет. Большая вода — совсем другое дело. Я до сих пор побаиваюсь всякого моря, не признавая в нем близкую для себя стихию. Мне кажется, что там, под водной поверхностью, обитает нечто не то чтоб враждебное, но кардинально иное, потустороннее, и что подводный мир также запрещен и чужд человеку, как, скажем, открытый космос. А в глубине этого «моря» точно таилось что-то недоброе, чувствовал я. Ведь именно здесь, под водой находился эпицентр минувшего землетрясения; что-то темное, какое-то хтоническое чудовище проснулось там одним вечером и сотрясло все вокруг своей мощью, заставляя твердь земли пойти трещинами, сбрасывая с себя хрупкие человеческие городушки. А вдруг оно проснется опять? Схватит меня за ногу и утащит в свою темную безрадостную пучину?

Не помню, чтоб, за исключением первых дней, я сильно мучился от жары. Наверное, быстро обвыкся, а может, просто память не сохранила этих деталей в силу их несущественности. Что же тогда было существенным? Да почти все, что отличало местный быт от привычного нам сибирского. Помню арыки с прозрачной водой, идущие вдоль каждого тротуара. Вода в них такая чистая, что, кажется, ее можно пить (что иногда позволяли себе местные ребятишки). Кое-где от арыков отведены запруды и сделаны небольшие бассейны, в которых плескалась таджикская детвора. Помню, как меня впечатлил поход в летний кинотеатр под открытым небом, расположенный прямо во дворе по соседству с домом, в котором мы жили. У нас в Барнауле такого не было и быть не могло — климат слишком непредсказуемый, летом много дождей. Помню, что я не столько смотрел кино (наверно, оно было не очень-то интересным), сколько созерцал общую обстановку и наблюдал за ласточками, мечущимися по вечернему небу. Помимо этого «официального» посещения кинотеатра

с родителями, позже с моим товарищем мы предпринимали «незаконные» вылазки и смотрели кино (хоть убей, не вспомню — какое, ибо куда больше меня увлекал сам процесс), забравшись на ограждение кинотеатра. Это было обычным делом для местных пацанов, а для меня — замечательным приключением. Помню еще, что вместо привычных голубей на местных улицах обитали более мелкие и изящные горлицы и что вместо привычных берез, кленов и сосен здесь повсюду росли южные вытянутые тополя и чинары.

Но больше всего меня завораживало присутствие другого времени и другой культуры, существовавшей здесь параллельно с вполне понятной и знакомой советской культурой: островки аутентичной жизни — чайханы, в которых на коврах восседали степенные старцы в халатах и тюбетейках, распивая зеленый чай, таджикские девчонки в национальных костюмах, с бесчисленными тонкими косичками, свисающими с головы, увешанные бусами и множеством блестящих украшений. Все эти люди словно были сделаны из другого теста, нежели мы, словно жили в другой эпохе, в сказочном мире старика Хоттабыча и Хаджи Насреддина. Они были очень чужими (многие даже не говорили по-русски) и немного пугающими (особенно старики, в силу сходства с «бабайками», которыми пугали меня в младенчестве), но в то же время удивительно притягательными. Будто еще была возможность пройти вслед за ними в их древний, исчезающий мир.

Ну и конечно, особенной «изюминкой» всей этой реальности были повсеместные развалины, оставленные землетрясением. Что-то ужасное было погребено под ними, столько нарушенных и сломанных жизней, но одновременно — для моего детского сознания — что-то таинственное и зовущее, словно останки канувшей в Лету неведомой цивилизации.

Скорее всего, однообразный ритм нашего с родителями отдыха быстро наскучил бы мне (да и они, наверно, нуждались в свободном от меня времяпровождении), если бы уже в первые дни этих каникул у меня не появился здесь друг. Назовем его Валькой,

я не ручаюсь, что помню его настоящее имя. Но, кажется, его звали именно так. Он был моим сверстником и жил в том же доме, где мы и наша хозяйка, через один подъезд. Мы как-то быстро снюхались с ним, и уже через неделю нашего здесь пребывания я отпрашивался у мамы «погулять с Валькой», спокойно жертвуя ради этих прогулок походами на «море». Что нередко мне позволялось. И отныне, благодаря Вальке, я мог находиться в Кайракуме уже не в качестве туриста, а постигать местную жизнь, что называется, «изнутри».

С Валькой мы проводили много времени вместе. Теперь я мог свернуть с прямой линии главного проспекта, ведущего к водохранилищу, и мне открывались тайны местных дворов и подворотен. Я, конечно, мало что помню. Только отдельные моменты, самые яркие картинки. Про кинотеатр я уже рассказал. Именно Валька был тем товарищем, который показал секретный лаз к халявному зрелищу. Также мы с ним забирались по пожарной лестнице на крышу нашего дома, совершали набеги на местные виноградники, прыгали по гаражам. А иногда последние два занятия объединялись в одно, так как многие местные выращивали виноград прямо над своим гаражом. Помню, как мы лежали под сенью виноградных вьюнов на крыше одного гаража в нашем дворе, а в метре над нами висели зеленые недозревшие гроздья. Нужно было только протянуть вверх руку и сорвать лакомство. Правда, нас оттуда прогнал хозяин — рассерженный дядька, размахивающий палкой:

— Что же вы, сволочи, делаете?! Дайте ему хоть дозреть!

Погоня была делом не менее увлекательным, чем вкушение запретных плодов. Мы от него легко убежали, хотя не уверен, что он всерьез намеревался догнать нас. Но помню, как вслед за нами неслись, словно псы, россыпи грозных проклятий и матов.

Помню, как на выходе из Валькиного подъезда мы столкнулись с местным хулиганом — тощим, высоким, года на два старше нас. Вальку он вроде бы знал, и к нему вопросов не возникало, а вот во мне он сразу определил чужака и спросил с соответствующим гонором:

— Ты откуда?

— Из Барнаула, — гордо ответил я.

— Чего? — деланно удивился хулиган. — Из какого еще Барнаула? У вас там что, все барные ходят?

Так и сказал — «барные» — с ударением на последний слог. Он был явно тупым и ничего остроумнее придумать не смог. И меня задело не столько оскорбление несуществующим словом, сколько эта его беспросветная тупость. Уж, казалось, что для него, русскоговорящего обитателя Средней Азии, может быть странным в названии «Барнаул»? Но я за словом в карман не полез и дал достойный, как мне показалось, ответ:

— Подумаешь. А у вас тут Сырдарья. Она что вам сыр дарит? — и искусственно рассмеялся. Валька поддержал мой смех таким же вымученным смешком. После моего лингвистического триумфа хулиган ретировался без боя. Хотя я готовился к худшему.

Но главным нашим с Валькой занятием стало исследование руин. Мы постоянно лазили по окрестным развалинам в поисках неведомо чего. По рассказам Вальки, под бетонными плитами и кирпичами, помимо разнообразных сокровищ, еще покоилось много ненайденных трупов. Не то чтобы мы горели желанием на них напороться. Лично я, напротив, жутко боялся этого, а Валька не боялся, наверное, лишь потому, что в глубине души знал, что никаких трупов там уже давно нет. Ведь со дня землетрясения прошел уже почти год. Скорее мы просто оправдывали свое мародерство благородной поисково-спасательной миссией.

Вальке вообще фантазии было не занимать. Он постоянно рассказывал какие-то фантастические истории. А я верил и не верил одновременно. Так часто бывает в детстве: ты позволяешь товарищу привирать и охотно покупаешься на его байки, поскольку они выводят тебя за пределы обыденности в воображаемый мир, на каждом шагу таящий возможности чуда и приключений. Так и наша реальность наполовину состояла из фантазий и домыслов, в которые мы не столько верили, сколько хотели поверить.

Я постоянно расспрашивал Вальку о землетрясении. Как это было? Как гибли и как спасались люди? Он охотно мне отвечал. Когда все началось, мать укладывала его с сестрой спать. Вдруг голова пошла кругом, неистово закачалась люстра на потолке, вылетело стекло из серванта, и на них посыпалась посуда. «Ни одной тарелки в доме не уцелело». Мать поняла что к чему и велела

бежать на улицу. По рассказу Вальки, в их подъезде обрушился лестничный пролет между первым и вторым этажом, и им пришлось прыгать, хоть было и страшно. Вообще, он говорил, первое, что пришло им на ум, — это бомбардировка. Дело в том, что в соседнем городке располагалось секретное производство, добывали уран (что такое уран, мы уже примерно знали в свои восемь лет: дети «холодной войны», мы все жили в ожидании Армагеддона). И они с сестрой всерьез решили, что это враг наносит удары по стратегическому объекту. Они выбежали во двор, кругом царила сущая кутерьма. Их дом, к счастью выстоял, хотя кое-где и пошли трещины, которые позже укрепили металлическими стяжками, а вот соседнему дому не повезло. Конечно, не все руины в городе осыпались в одночасье, как я сначала подумал. Многие поврежденные дома, не подлежащие восстановлению, сносили уже потом. Но все же картины передо мной рисовались ужасные.

Под завалами скрывались целые лабиринты, разрушенные миры и «пещеры». Они становились нашим сомнительным убежищем от солнца и от действительности. Не знаю, что мы рассчитывали найти в этих развалинах помимо всякого грустного хлама — старых ключей и тряпья, покалеченных детских игрушек, сломанных часов и радиоприемников, люстр и разбитой посуды. Может быть, деньги или еще что-то ценное. Но на всем, что нам попадалось, лежала незримая печать смерти и горя. И даже если находилась какая-то целая вещь, необъяснимое отчуждение или брезгливость заставляли нас отбросить ее и продолжать поиски незнамо чего.

Первой находкой, которую решили мы оставить, стала большая лупа — предмет, казалось бы, хрупкий, но на удивление целый. Обрадовавшись находке, мы тотчас вылезли на поверхность к дневному свету, чтобы приступить к испытаниям. Разложили на солнце скомканную газету и сфокусировали на ней луч, проходящий сквозь линзу. Чудо физики не заставило себя долго ждать. Преломленное толстым стеклом изобильное таджикское солнце быстро принялось читать своим огненным зрачком типографские строки и буквально за минуту оставило от них лишь горстку пепла. Мы были в восторге. Я впервые был свидетелем подобного эксперимента, хотя раньше об этом что-то и слышал.

Лула осталась у Вальки, поскольку именно он заметил ее первым. Он вообще почти все находил первым, ориентируясь в развалинах, будто в родной стихии. Конечно, он давно уже и без меня тут все излазил. Однако следующая ценная находка была обнаружена нами одновременно.

— Смотри! — хором воскликнули мы, когда в пыльной куче под нависшей бетонной плитой заметили что-то блестящее и идеально круглое. Это было еще одним чудом: еще один хрупкий предмет уцелел во всеобщем хаосе разрушения. То был прозрачный хрустальный шар диаметром сантиметров восемь, без единой царапинки. Как ему удалось сохраниться? Одному богу известно. Ну, вообще, это мы так решили, что шар хрустальный. На самом деле, скорее всего он был просто стеклянный. Но какая разница? Очевидно и бесспорно было, что перед нами самый что ни на есть настоящий магический артефакт. Ну а что еще это могло быть, по-вашему? Разве такие предметы подразумевают какую-либо прагматическую цель, какое-либо будничное применение? Я такового не знаю, да и вы, наверняка, тоже. А вот в магии таким штуковинам самое место.

— Мой! — крикнул Валька и схватил шар. — Я первый заметил!

— Почему это ты? — не согласился с ним я. — Я тоже. Я тоже первый заметил.

— Нет, я! — упорствовал он.

— А может быть, я! — настаивал я.

— Да я заметил еще до того, как сказал, — настаивал на своем Валька.

— Ну ладно, — пошел на компромисс я, — будем считать, что мы одновременно его нашли.

— Даже если заметили одновременно, я первый его взял, а значит, он мой, — никак не хотел уступить Валька.

— Ну хорошо, твой так твой, — сдался я. В конце концов, я уже считал Вальку своим лучшим другом и совсем не хотел с ним ссориться. Но, право, не узнавал его. Он весь возбудился, занервничал. Казалось, он был готов драться за этот шар, словно перед ним было «кольцо всевластья». Однако увидев, что я больше

не претендую на «его прелесть», он успокоился, и глаза его заблестели тем хитреньким и вдохновенным блеском, который обычно сопутствовал полету его фантазии.

— Это не простой шар, — сказал он.

— Понятное дело, не простой, — согласился я, не вполне еще понимая, с чем.

— Это магический шар-оракул, — уверенно провозгласил Валька.

— Что значит оракул? — не понял я.

— Это значит, что с его помощью можно делать предсказания, — ответил Валька, — если знать нужные заклинания, в нем можно увидеть будущее или прошлое.

— Да ну, — изумился я.

— А то! Ты, наверно, не знаешь, но в этом доме раньше жила колдунья. А после землетрясения ее тело, кстати, так и не нашли, — развивал Валька свою очередную фантазию.

— Колдунья? Прямо настоящая?

— Конечно, настоящая. А какая ж еще?

— Ну, не знаю... а какая она была?

— Ну, такая... необычная, знаешь, с темными волосами...

— Она русская была или таджичка? — помогал я ему разогнаться.

— Да попробуй ее разбери. Колдунья есть колдунья, — неохотно ответил Валька. — У них, знаешь ли, нет национальности.

Мне вдруг стало страшно от мысли, что где-то здесь под завалами может до сих пор лежить скелет погибшей колдуньи. И руины обрели еще более зловещий контекст, чем прежде.

— Может, пойдем, — предложил я.

Валька согласился:

— Ладно, пойдем. Завтра продолжим поиски.

— Поиски чего?

— Ну как же? Может тут еще кроме шара осталось что-то магическое. Мы ведь не сможем пользоваться шаром, пока не найдем ключи к нему.

— Какие ключи?

— Не знаю, может, где-то сохранились нужные заклинания или еще чего, — пожал Валька плечами.

Мы выбрались на свет божий и принялись разглядывать находку. Штука, определенно, была волшебная. И без всяких заклинаний в прозрачной глубине шара чудились, переливались, блестя невинные тайны. Наверное, при развитом воображении, таком, как у Вальки, в этом шаре и впрямь можно было много чего разглядеть: и будущее, и прошлое, и еще неведь что.

На следующие дни мы продолжали исследование развалин, но больше ничего так и не отыскали. Постепенно наш энтузиазм сходил на нет, очарование магией уступило место другим, не менее захватывающим детским занятиям. Шар так и пылился у Вальки дома, и я постепенно совсем позабыл о нем. Время шло быстро, и каникулы подходили к концу. Мне было грустно уезжать из таинственного Кайраккума, от синего «Таджикского моря», сочных фруктов, арыков, горлиц, чинар, восточных базаров, таджичек с косичками, стариков Хоттабычей из чайханы и мрачных развалин, скрывающих под собой столько нераскрытых загадок. А особенно грустно было расставаться с Валькой.

Перед нашим отъездом он вышел во двор проводить меня. Наверное, ему тоже было грустно.

— А ты следующим летом приедешь? — спросил он.

— Не знаю, — сказал я, с надеждой посмотрев на маму, — хотелось бы.

— Обязательно приезжай, — сказал Валька.

— Постараюсь, — пообещал я, хотя от меня, конечно, ничего не зависело. И, конечно, в следующем году я не приехал. И вообще больше я не был в Таджикистане и не знаю, доведется ли побывать там когда-то еще. И живет ли там до сих пор мой полузабытый друг Валька.

Когда мы уже садились в такси, Валька подошел ко мне и сунул в руку хрустальный шар:

— Вот, возьми.

— Да ты что! — удивился я. — Нет, я не могу его взять. Он же твой!

— Возьми, это подарок.

— Нет-нет, — сопротивлялся я из скромности и одновременно из суеверного страха перед магической вещью.

— Бери! — твердо повелел Валька. — На память обо мне.

Ну, если на память... Я принял подарок и немного устыдился, что не оставил ему ничего взамен. Мы попрощались, и такси увезло меня в аэропорт. Сидя в самолете, я долго разглядывал Валькин подарок, про себя обещая своему другу, что обязательно отыщу «ключи» от шара, что обязательно мы с ним еще увидимся. И, как знать, думал я, может быть, как раз с помощью этого шара я смогу связаться с Валькой на расстоянии. Кто знает, на что способна эта вещица.

Но прошли годы, и хрустальный шар пропал где-то в дебрях детства, вместе с легковой детской магией и памятью о моем «лучшем друге», чьего имени я теперь даже не помню. Вместо него в моем распоряжении теперь только хрусталь памяти, в котором пропадает, переливаясь ненадежными бликами и недостоверными образами, прошлое.

Виктор Галкин

Родился в 1942 году в Барнауле. Окончил Алтайский политехнический институт по специальности «инженер-механик». Работал на Барнаульском котельном заводе в системе МВД. Стихи начал писать с 1972 года. Печатался в журналах «Встреча», «Барнаул», «После 12», «Ликбез», «Барнаул литературный». Издано два авторских поэтических сборника.



АКВАРЕЛИ ДЕТСТВА

*Помним ли мы, как впервые увидели свет,
как учились ходить, говорить?
Сколько живём мы на свете,
если порой и вчерашний день забываем?..*

По ночам
в бабушкином доме с тесовой крышей, изъеденной мхом,
слышно было,
как идут гулкие поезда
в неизвестную даль.
Однажды один из них
убил бабушкину корову-кормилицу.
Дождь лил как из ведра,
а утром было вёдро.
Я не видел, как плакала бабушка.

Дождь стеной водяной перед моим окном
бешено стенает в проёмах улиц,
намок треугольник письма,
смазаны лица прохожих, листья деревьев в том давнем.
Буду и в будущем помнить его,
даже став тенью.

В моих руках кусочек мёрзлого хлеба, посыпанный солью.
Его называли гостинец —
ласковое слово тех военных лет.
Тогда я улетал из детства в сегодняшние дни,
представляя их совсем другими...
А, может быть, живём мы только
в сей час
и нет нас ни в прошлом, ни в будущем?

Акварель. Лист первый

*Выправляю кривые прямой,
выкривляю прямые.
Так с нами жизнь поступает,
так поступаем мы с жизнью.*

Солнце в тот летний день жгло немилосердно.
Улица в ответ источала не менее яростный жар.
Жар источали стены домов, тела старых тополей,
городская дорога, мощённая серой пылью,
а тени домов, заборов, деревьев были настолько чётко очерчены,
как будто какой-то невероятный фотограф
тщательно навёл резкость и теперь любит дело своих рук.

Во дворе нашего дома,
что вырастал из земли аж на два этажа
своим мощным тёмным телом из добротного тайгового кругляка,
ни один пацан не верил Вальке Лобану,
который утверждал, что у него две бабушки и два дедушки.

Какой дурак этому поверит?

У всех остальных пацанов, как у людей, было по одной бабушке
и... и всё.

С отцами тоже была сильная напряжёнка.
Многие не вернулись с полей войны.
Такая вот полевая работа.

Дому нашему был присвоен адрес — улица Никитинская №103.
Правильнее, конечно, было бы сказать:
улица имени Никитина Ивана Савича, поэта,
но все привыкли называть её просто Никитинской.

Дом наш был выше всех соседних домов,
и это отдельный предмет гордости нашей детворы.
Этакой дылдой возвышался он на пересечении с Красноармейским.
Мы, ребяташки той поры, не задумывались,
переулок это или другая улица.
Красноармейский, и всё... А что?
Родители буквально вдавливали в мою голову этот адрес
на случай, если я заиграюсь далеко от дома и заблужусь.
Так же поступали и в других семьях.
В то время детям дозволялось бегать далеко от дома.
Автомобили на дорогах были редкостью,
уркаганы и прочая шантрапа — тоже.
За всё дошкольное детство я помню лишь один случай.
Произошло это так:

Совсем немного времени прошло с тех пор,
как отец, вернувшись с фронта,
перевёз нас с мамой от бабушки
со станции Алтайская в город Барнаул.
Я к тому времени ещё не освоился
на прилегающих к нашему дому улицах,
и вот на тебе:
навстречу идёт урка, причём классический урка.
О таких мне по секрету нащёптывал мой новый друг Лёха.
Соседки-бабушки говорили между собой про Лёху:

— Вот ведь, мамкина беда.
Лёха этим даже гордился.
Уркаган шёл посредине улицы,
приставал к молодым женщинам,
цыкал слюной между зубов на встречных ребяташек,
пугал их
и был, конечно, поддатым.
Он сильно отличался от привычных прохожих.
Одет был во всё новенькое:
чёрная аккуратная телогрейка,
чёрные хлопчатобумажные штаны,
заправленные в начищенные до блеска сапоги гармошкой,
фуражка-восьмиклинка, модная в те времена у блатных,
и чуб треугольником, выпущенный из-под козырька.
На прохожих он смотрел вызывающе, с угрозой.
Левая рука его была почему-то около ширинки штанов,
правая находилась в кармане телогрейки,
намекая, что там финка.
К нему подошли два молодых мужика,
одетых, как и большинство, во всё старенькое, потёртое.
Они походили на обычных рабочих,
шедших по утрам на заводы.
Трамваев и автобусов тогда не было.
Эти молодые мужики сделали блатному замечание.
Он посмотрел на них с презрением и заорал:
— Да я вас щас урою, я вас попишу!..
Как они его били!
Он упал от первого же удара,
а они продолжали, приговаривая:
— Тебя, сука, освободили, амнистировали в честь Победы,
так ты будь благодарен.
Я теперь понимаю: это были молодые парни,
пришедшие с недавней войны.
Они видели слишком много смертей
и сами лишали жизни других.
Блатной уже не сопротивлялся, только повторял:
— Я всё понял, я не прав.

Мужики подняли его с земли, поставили на ноги
и вытерли тряпкой, что подала какая-то женщина,
его лицо и шею, которые были в крови.
Я же, пишуший сегодня эти строки,
вспомнил почему-то слова библейских текстов о терпимости.
Что тут скажешь?
Библия — великое произведение,
но в одном из стихов её говорится устами Иисуса:
«Не мир я принёс вам, но меч».

Наше послевоенное детство
в далёком теперь СССР
было, конечно же, счастливым.
Не очень сытым? Да.
Но мы как-то не замечали этого.
По осени мы баловали себя ранетками.
Они наливались соком и, пожалуй, казались нам повкусней,
чем нынешние яблоки современным детям.
Обычно мы говорили друг другу:
— А пошли жрать ранетки!
И мы шли и жрали, именно «жрали» —
так было веселей.
Сначала мы шли к Демидовскому столбу,
где росло много молодых кустов ранеток,
а если хотели, перебирались на площадь Свободы:
там, на месте бывшей когда-то церкви,
был посажен целый сад.
Иногда нас из сквера выпроваживал дядя милиционер.
Мы от него прятались —
и это была важная часть наших игр.
А после мы с удовольствием обсуждали
свои приключения в ранеточном раю.

В те времена магазин детских товаров
располагался недалеко от нашего дома,
на пересечении Никитинской и Социалистического.
Это было красивое деревянное одноэтажное здание.

Одна сторона его тянулась по Социалистическому проспекту,
другая — по Никитинской улице,
а высокое крыльцо завершало угол этого соединения.
Над входом царила надпись большими буквами: «Детский мир».
Что говорить, дворец, да и только.
Мы стайкой пацанов и девчонок скромно заходили в магазин,
робко ходили вдоль стеклянных витрин
и так же робко удалялись.
Я теперь уже и не помню, что там продавали.
Признаюсь, тогда меня больше привлекали
цветные карандаши и альбомы для рисования.

Мы не испытывали недостатка в игрушках,
у нас всё было игрушками.
Допустим, забирались пацаны на дощатый забор,
который отделял наш двор от соседнего,
а снизу девчонка, отчаянная, хоть и младше нас,
кричит нам:
— Эй, вы, ну-ка отгадайте:
«А» и «Б» сидели на трубе.
«А» упало, «Б» пропало.
Кто остался на трубе?
— Никто!
— А вот и нет, — выкрикивала она в восторге. — «И» осталось!

Мы играли в догоняшки, в прятки, в войнушку, в штандер.
Когда играли в войнушку,
обычно никто не хотел быть фрицем.
В результате — решали играть без фрицев.
И как-то получалось.

Но чаще всего мы играли в машинки:
машинками служили прямоугольные деревянные.
Строили дороги, гаражи, перевозили грузы, буксовали.
О, буксовать — это обязательно!
Чтобы потом помогать вытягивать друг друга.

Иногда мы участвовали и в девчоночьих играх,
когда они играли в магазин.

Продавщицами всегда были девчонки.

Директоров в этих магазинах не было.

Продавщицы торговали разным товаром:
ткани, хозяйственная мелочь, крупы, хлеб.

Допустим, я приходил в магазин и заявлял:

— Мне один килограмм хлеба.

Продавщица строго смотрела на меня и говорила:

— Килограмм отпустить не могу, только полкило.

Я соглашался, а что делать?

Она делала вид, что режет несуществующую буханку пополам,
а я протягивал ей листочек сирени, который служил деньгами.

Она недовольно говорила мне:

— Мало денег, давай ещё.

Я протягивал ещё два листика сирени,
и она отдавала мне полбуханки хлеба.

Я брал эту несуществующую полбуханку
и укладывал её в несуществующую сумку...

А нередко случалось так:

во двор выходил наш заводила Петька.

Он держал в руке здоровенный ломоть хлеба,
посыпанный сахаром (вот ведь!), и орал на весь двор:

— Сорок один!

Это означало: ем один.

Стоя на крыльце, с поднятой рукой и ломтём хлеба в ней,

Петька был выше всех нас.

И тут кто-нибудь орал в ответ:

— Сорок второй!

Это означало: ем с тобой.

Всё всегда кончалось одним:

Этот ломоть разламывали на всех,
сахар просыпался, но все были довольны.

Рассказы об играх детей войны

Можно продолжать до бесконечности.

Я еще не рассказывал про зимние игры.

Это отдельная история...

...Сегодня, в 2020 году,
на семьдесят восьмом году жизни,
я, внук врага народа, думаю:
«А, может быть, прав был товарищ Сталин,
когда повторял в те послевоенные годы:
“Жить становится лучше, жить становится веселей”»...
Мы, жители огромной территории,
люди разных национальностей,
объединённые одной идеологией
и одним языком межнационального общения — русским,
постепенно жили всё лучше, всё веселее,
а главное — дружно.

Акварель. Лист второй

*Мы живём на свете
столько,
сколько позволяет нам
память.*

*Две бесконечности, всего лишь две
могу соизмерить.
Вижу их в глазах моей матери.*

Младенческие годы вспоминаются мне редкими,
но яркими фрагментами,
как зарницы в небе.

Вот: мама держит меня на левой руке,
а другой листает страницы толстой книги,
пропахшей лекарствами, как и сама мама.
Теперь я знаю:
это был справочник лечащего врача,
а мама работала участковым детским врачом
на станции Алтайская.

Сколько себя помню,
она всегда работала участковым врачом-педиатром.
Только когда она покинула этот суетный мир,
из её документов я узнал, что в 1942 году,
когда отец уже был на фронте,
она окончила лечебное отделение
Акушери-фельдшерского техникума.
Этим и ограничилось её официальное медицинское образование.
А ещё припомнилось мне, как в пятидесятые годы
отец уговаривал маму продолжить образование
в только что открывшемся в Барнауле медицинском институте.
Правда, он не учёл тогда, что мама на тот момент,
выражаясь чиновничьим языком,
была главным кормильцем в семье.
Она работала на две с половиной ставки врача,
поэтому ни о какой учёбе не могло идти речи,
но она об этом всегда скромно молчала,
чтобы не травмировать нежную душу мужа.
Отец после войны, окончив десятилетку заочно,
поступил в Омский финансово-кредитный техникум,
где так же заочно продолжал своё образование
без отрыва от производства, как тогда говорили.

У мамы был удивительный талант диагноста.
Это очень ценили в детской поликлинике, где она работала.
Иногда она брала меня с собой на вызов.
Как правило, я ждал её на улице, развлекавая себя как умел,
но изредка она разрешала мне пойти с ней к больному малышу,
и тогда я видел, как она священнодействует,
(иначе этот процесс трудно назвать).
Свой визит она начинала с того,
что успокаивала мамочку малыша,
и только потом приступала к осмотру больного младенца.
Больной малыш пронзительно пищал.
Что с него возьмёшь, говорить такие малыши ещё не умеют.
Но младенец, слыша негромкий голос моей мамы,
осылая запах лекарств, исходивший от неё, успокаивался.

Мама малыша, как правило, всплеснув руками,
воскликнула: «Как же вы так, Агриппина Ивановна!»

Далее шло действие осмотра больного,
и оно же, наверное, лечение.

Мама моя не торопясь осматривала всего младенца,
(а он только гукает),
потом — его лобик, голову под жиденькими ещё волосиками,
белки глаз, шейку, животик.

Потом переходила вниз:

осматривала ножки на сгибах, между ножек —
нет ли где покраснений,

после заглядывала в ротик: нёбо, язычок, дёсны.

Затем слушала сердце фонендоскопом,
(к нему я испытывал большое почтение, серьёзное изделие),
измеряла температуру... и ставила диагноз. Всё!

Далее, она выписывала рецепты и, если была возможность,
оставляла самые важные для лечения лекарства.

Напоследок давала маме младенца необходимые наставления
(именно наставления!),

и на этом визит к ребёнку заканчивался.

Выздоровление ребёнка было гарантировано.

... Но возвращаюсь в январь 1943 года.

Бабушкин деревянный дом-насыпнушка.

Русская печь трещит дровами, рассылая вокруг доброе тепло.

Мне ещё нет и года.

Мама держит меня на сгибе левой руки

(я легко умещаюсь на нём),

а правой перелистывает страницы книги.

Там, среди страниц, уложен волосок с её головы.

Она говорит мне: «Смотри!»

Я вижу волосок и протягиваю к нему свой крохотный пальчик.

Мама радостно кричит своей маме, моей бабушке:

— Мама, он видит!

В те времена я умел только гукать, как и все младенцы,
а мама моя, беседуя со мной,

как беседует каждая мама со своим младенцем,
иной раз показывала мне различные предметы.
Я же равнодушно смотрел на них своими детскими гляделками,
мама и подумала, что у меня проблемы со зрением,
поэтому и проделала эксперимент с волоском.
Я в свой неполный год, конечно, не умел говорить,
но прекрасно понимал свою маму.
Думаете, я намекаю, что был каким-то особенным ребёнком?
Да, намекаю.
Более того, я намекаю, что все младенцы особенные
и, не умея говорить, прекрасно понимают своих мам.
Такие вот они — младенцы.

Акварель. Лист третий

*На фронте тишина,
затишье на передовой...
Редкие пули
со стуком глухим
ложатся рядом,
как преданные собаки.
Солнце улыбается криво.*

*Бездонны омуты сумасшедших
звуков войны и...
вдруг, словно бритвой по сердцу, —
тишина.*

Время войны движется удивительно медленно.
Минуты как дни, дни как годы,
говоря поэтическим языком,
сущность которого непостижима.

Все эти долгие годы я только слышал про отца.
Вот мама говорит, раскрывая треугольник письма:
— Папа прислал нам привет с фронта...
Или, показывая мне своё письмо к отцу на фронт:

— Смотри, я отправляю папе в конверте твои волосики с головки, он просил.

С работы мама приходила поздно, усталая, работала, как все, по законам военного времени.

Я оставался дома с бабушкой.

Бабушка беседовала со мной чаще, чем мама, и беседовала по-своему. Она говорила:

— Вот закончится война, и увидишь отца.

Я коверкал в те времена многие слова:

вместо слова «отец» говорил «отеча».

Когда мама, получив с фронта очередное письмо, сообщала мне: «Вот, папа снова прислал нам привет»,

я смотрел на неё и спрашивал: «А отеча?»

Я как-то не мог связать два этих слова — папа и отец — с одним человеком.

Мама, устав на работе, не очень-то прислушивалась ко мне, а бабушка в такие мелочи вообще не вникала.

Со мной почему-то всегда так:

когда на пятом году своей жизни я научился читать, то читал не по слогам, а воспринимал слова и фразы в целом.

Но тут возникли проблемы: по радио я слышал

«товарищ Ленин» или «русский поэт Пушкин»,

а в книгах читал «Стихи о Виленине» или «сказки Аспушкина».

Я спрашивал взрослых: «Почему Виленин, почему Аспушкин?»

Никто меня не понимал, и никто ничего не объяснил.

Всё это я понял сам, но позднее...

Да, мама не понимала, о чём это я, когда спрашивал её про «отечу», но объяснять ей всё-таки пришлось, но не мне.

Уже отзвучали праздничные марши по случаю победы.

Закончилась война, наступил мир, но

локальные бои всё ещё продолжались.

Отца демобилизовали из армии ближе к осени 1946 года.

Мама получила письмо, в котором он сообщал,

что теперь он человек гражданский

и добирается из дальних краёв домой, в Барнаул.

Бабушка и мама с нетерпением ждали отца, а он,
как нередко бывает в жизни,
всё-таки неожиданно появился в бабушкином доме,
что стоял себе на высоком берегу реки Чесноковки.
А дом вообще никого не ждал,
а только очень боялся свалиться в речку.
Или это мы с бабушкой боялись?
Чесноковка каждую весну всё больше подмывала высокий берег.
Вот уже у соседей весь огород рухнул вниз,
и бабушкин дом теперь отделяла от речки только дорога,
она же улица Береговая.

Я сидел у бабушки на коленях,
а она — на своём сундуке,
который пах сухим деревом и старостью.
И вдруг...
(всегда это «вдруг» во всех рассказах, как без него?)
дверь, обитая войлоком, какой-то тканью и ещё чем-то
для сохранения тепла зимой, медленно, со скрипом открылась,
как будто сама собой, а никого нет, и...
в полутемном проёме двери возникла (именно возникла!)
фигура человека в солдатской форме, но без погон.
На голове у него пилотка,
гимнастёрка стянута солдатским ремнём.

Всё завершает галифе, сапоги и вещмешок за плечами.

Человек неподвижно стоял в дверном проёме,
кажется, даже боялся пошевелиться.

Бабушка со мной на коленях
тоже застыла на своём сундуке. (Немая сцена.)

— Отец приехал, — шепнула она мне на ухо,
и тут я громко воскликнул:

— Отеча приехал, а папы всё нет!

Мне показалось тогда, что никто, как обычно,
не обратил внимания на мои слова...

Всё вдруг пришло в движение.

Бабушка поставила меня на пол и кинулась к отцу.

— Слава тебе, Боже! — причитала она, обнимая его,
(а мама в это время ещё была на работе).
Я топтался у сундука. Отец растерянно смотрел на меня,
обнимая бабушку, и оба они были в слезах.
Тут и я заревел, (а как же — положено!).
Отец освободился от бабушки,
подбежал ко мне, схватил меня и прижал к себе.
Я впервые ощутил незнакомые запахи:
по-особому пахла его гимнастёрка —
крепкая смесь запахов махорки и мужского пота.
Непривычны были и прикосновения его колючего подбородка.

Бабушка объяснила отцу, как найти маму
на станции Алтайская в медицинской амбулатории.
Отец бросил вещмешок и побежал за мамой.
Начальство в таких случаях
безоговорочно отпускало работающих женщин.
Вскоре они с отцом были дома.

В эту ночь мои родители и бабушка не спали.
Отец, конечно, вернулся к вопросу о папе и отече.
Мама и сама не понимала ничего.
Обо всём догадалась бабушка и объяснила отцу,
как появились на свет эти два понятия — папа и отеча.

Конец этой истории, наверное, типичен.
Через девять месяцев, уже в 1947 году, мама родила двойню,
двух мальчиков, Олега и Павлика.
Трудное тогда было время, голодное.
Мама была очень ослаблена,
слабыми были и родившиеся близнецы.
Олег прожил на свете один день, а Павлик — два.
Умерли младенцы в том же роддоме, где и родились.

Когда они прилетели в свой детский рай
(на том свете малые детки летают, что воробушки у нас в Сибири),
отцы-архангелы, добрые, как...

да нет, ещё добрее, чем наши деды Морозы в Новый год,
спросили их:

— Откуда вы, детки?

— Из Барнаула, — ответили они хором.

— Да-а-а, — сказал один из архангелов, —
война на земле вроде погасла,
а детки войны всё летят и летят к нам.
У войны длинные руки.

Отец похоронил братьев в одной могилке
на городском кладбище у речки Пивоварка,
где позднее построили Трамвайное депо № 1.
Жизнь не останавливается, течёт и течёт себе...

Акварель. Лист четвёртый

*По уговору с тёмной тучей,
она — громом, я — криком,
окликаем друг друга...
Тётя Поля, тётя Шура,
тётя Вера, тётя Марейка,
праведные сёстры моей праведной мамы,
вспоминаю ваши тучные на беды годы,
всех вас вспоминаю, глядя на тучи...
А дождь идёт, оmyвает моё лицо,
и деревья радуются дождю.*

*На этом белом свете,
который никогда и не был белым,
всё — чудо! Нечудес не бывает.
Только задумайся...
и удивишься и согласишься.*

Я хочу поразмышлять о чудесах.

Мне на семьдесят восьмом году жизни не только разрешается,
но и положено размышлять на такие темы.

Начну издалека.

Как-то жена мне сказала, что я дитя войны.
Не потому, что у меня воинственный характер,
скорей наоборот,
а потому что родился во время войны, в 1942 году.
Я же подумал, но вслух не сказал:
«Бери выше — я дитя революции».
Если бы не этот великий катаклизм в нашей стране,
мои родители никогда бы не встретились
и не образовали семью.

Со стороны мамы мои предки были крепостными,
они пришли в Сибирь после отмены крепостного права,
в деревню Голубцово к дальнему родственнику,
крестьянину Голубцову, который и основал эту деревню.
Здесь, в Сибири, они занимались тем же, чем занимались всегда —
выделявали кожи из шкур крупного рогатого скота.
Бабушка моя (про деда я вообще ничего не знаю)
не умела ни читать, ни писать.

Теперь о родственниках моего отца.
Мой дед со стороны отца был крупным сибирским чиновником,
в своё время он окончил Казанский университет
и, похоже, знал Ульянова В. И. не понаслышке.
Дед, по словам отца,
с большим уважением отзывался об Ульянове-Ленине
и сам был либерально-демократических взглядов
и яростным патриотом России.
По этой причине он в своё время не покинул страну,
как ему советовали коллеги.

Ясно, что революция совершила одно из своих миллионов чудес.
Хорошо это или плохо, радость это или горе?
На эти вопросы никто не знает ответов.

В 1918 году в городе Минусинске родился мой отец,
а через два года, более чем в двух тысячах сибирских километров
в деревне Голубцово родилась моя мама.

С этого момента началось движение их навстречу друг другу,
и в своё время, отведённое для этого чуда,
произошла их встреча.

В апреле 1931 года дед мой был арестован
по обвинению «в антисоветской агитации,
направленной на подрыв колхозного строительства»
(из официальных материалов).
Он в это время работал бухгалтером пригородного колхоза.
Постановлением Особой Тройки ПП ОГПУ
дед был приговорён к расстрелу,
но расстрел заменили десятью годами лишения свободы.

В октябре 1989 года прокуратурой Красноярского края
постановление Тройки было отменено
за отсутствием состава преступления.
Из просмотренных мной документов я сделал печальный вывод,
что работники ОГПУ сфабриковали материалы дела.
А что — шлёпнуть бывшего крупного сибирского чиновника,
потенциального врага народа —
святое дело и красивый отчёт для начальства.

И ещё приходит в голову глобальная, но безрадостная мысль
о низком качестве человеческого материала на планете Земля.
Ну что это за люди такие? Неужели они — тоже люди?

Итак, деда осудили на десять лет,
его семью отправили в Могочин —
ссылное место в среднем течении реки Обь.
Семья, попавшая в непривычные, суровые условия
испытала многие невзгоды и лишения.
Следствием этого стала смерть в 1937 году мамы отца,
моей бабушки, в возрасте сорока одного года.
Все бытовые проблемы легли на плечи старшего брата,
он к тому времени был женат и имел малолетнюю дочь.
Под одной крышей с ними оказались мой отец, средний брат,
которому исполнилось семнадцать лет,
и младший брат, тринадцатилетний мальчишка.

За хозяйку в доме осталась жена старшего брата, которая, естественно, была недовольна созданным положением. Отец мой в то время работал счетоводом коммуны «Чекист» и терпел жизнь в Могочине, пока жива была его мама. После её смерти он отложил, сколько смог, денег на дорогу и отправился на юг Сибири. Местное начальство к нему никаких претензий не имело, и то, что он — сын врага народа, пока никого не волновало. Пацан, кому он нужен.

Денег у него хватило, чтобы добраться до станции Барнаул. Он вышел на привокзальную площадь, небольшую, но довольно приятную, имея в карманах полное отсутствие денег, вещмешок из рогожной мешковины и в нём достаточное, по его мнению, количество сухарей, железную кружку, ложку, шерстяное одеяло и... всё. Мой отец, тогда ещё семнадцатилетний парень, медленно шёл с привокзальной площади. Куда?... Куда глаза глядят. А глаза его глядели в сторону Красноармейского проспекта, в те времена он уже именовался проспектом. Но какой это был проспект: его обрамляли дома-развалюхи с пьяными дощатыми заборами.

И вот, пока я пишу эти строки, отец мой в том 1938 году медленно идёт, идёт вслед за надеждой, надеждой на чудо. Но, если правду сказать, никакой надежды у него не было, его мучила мысль: «Где переночевать первую ночь в этом незнакомом городе?»

К счастью (как любил это выражение французский фантаст Жюль Верн!), к счастью, повторяю я вслед за ним, город в те времена был очень небольшим,

и отец мой, руководствуясь не разумом,
а какой-то животной интуицией,
спускался по Красноармейскому проспекту
в сторону речки под названием Барнаулка.

Итак, отец медленно шёл по Красноармейскому проспекту
к Демидовскому столпу,
затем повернул налево и, минуя городской сад
(знал бы он, какая роль была отведена этому саду в его судьбе!),
пришёл на старый базар,
и тут уж ноги сами привели его
к бревенчатому мосту через Барнаулку,
где немного ниже речка впадала в великую Обь.
В этом месте жители города,
по крайней мере, те, что любили рыбалку и охоту,
организовали охраняемый причал.
Здесь под присмотром пожилого сторожа хранились лодки горожан.
И здесь моего отца уже ожидало чудо.
Невероятное чудо!
Но об этом знаю только я и больше никто.
И больше никто,
даже пожилой сторож, мир его праху,
который и был автором этого чуда.

Отец подошёл к сторожу
(ранее он привёл себя и свою одежду в порядок,
поэтому выглядел вполне прилично),
вежливо, скорее даже робко
поздоровался с пожилым человеком
и кратко без эмоций изложил свою историю.
Своим видом и тем, как держал себя, он понравился сторожу.

Отец прожил на причале целую неделю.
Он не бездельничал, активно включался в любую работу,
что тоже положительно его характеризовало.
За эту неделю пожилой сторож
познакомился с историей моего отца во всех подробностях,

узнал, что молодой человек знает бухгалтерское дело.

Это всё и решило.

Сторож направил моего отца к своему другу, начальнику жилуправления, и отца приняли на работу в качестве бухгалтера с испытательным сроком.

К осени он был уже равноправным сотрудником коллектива, покоров всех исполнительностью, старанием, идеальным почерком и вполне приемлемым знанием бухгалтерского дела.

Жил он в подсобном помещении при этом же управлении.

В октябре — безрадостном, слякотном месяце — в его жизни произошло радостное событие: ему как молодому, перспективному работнику была выделена небольшая, но отдельная квартирка на втором этаже двухэтажного дома по улице Никитинской №103. (Разве это не чудо?)

На работе отца, между прочим, все знали, что он сын врага народа. Шила в мешке не утаишь, а никто его и не таил.

В 1972 году, когда мне было уже тридцать лет, я записал в своём блокноте:

Однажды

я открыл для себя

простую истину...

Всё не так просто.

Неисповедимы пути простых истин.

Отец, чтобы встретить мою маму

(а встреча их была предопределена, я в том уверен),

прошёл свою часть пути от ссыльных мест до города Барнаула.

А что же мама?

С ней к тому времени всё было немного проще:

она уже находилась в городе Барнауле,

и встреча их, как говорят технари, была делом техники.

И техника не подвела.

Акварель. Лист пятый

На белом, белом,
нереально белом
рисую чёрным... жизнь.
Ничего больше,
только чёрное и белое,
и чёрное
всегда вытекает из белого
и вновь растворяется в нём.

В давнюю ночь 9-го мая,
первую после войны,
гармоника, как сумасшедшая,
играла под нашим окном.
Тува, тува!
Тува, тува!
И молодой ещё мужик, обнажённый по пояс
и пьяный, что характерно, в зюзю,
звенел боевыми медалями,
приколотыми на голую грудь,
и кричал: «Могу и сплясать!»
Но ног не было у него,
просто деревянная каталка
на стальных подшипниках,
и я, пятилетний пацан, был выше его.
а ещё выше
серп полумесяца прятался за облаком,
прятался
и прятался.

...И техника не подвела,
техника устройства нашего мира, полного зла и добра.
И зло в нём, как обычно, огромно,
а добро ничтожно... и неуничтожимо.

Мы всегда живём в каком-нибудь историческом периоде
и едва ли помним об этом.

Но пока на белом свете есть разумные существа,
создающие в окружающем мире свой собственный мир,
более важный для них, чем всё остальное,
исторические периоды будут и будут длиться,
и зло всё так же будет огромно, а добро — ничтожно...

и неуничтожимо.

Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
А я-то рассказываю не сказку,
я рассказываю про обычную жизнь,
но и в ней дело делается долго и трудно,
и с этим не поспоришь.
Не поспоришь и с чиновником, причём всех времён и народов.
В этом мой будущий отец убедился на своём опыте
(а другого у него и не было).

До встречи моих будущих родителей, оставалось...
Впрочем, о времени я рассуждать не смею,
ведь время — оно, как Бог:
пока есть человек, есть и время.

Время моих будущих родителей
было плотно заполнено их личными событиями.
Мама, стремясь осуществить свою мечту —
стать медицинским работником,
училась в Барнаульском Акушерино-фельдшерском техникуме.
Отец, устраивая быт в своей квартире,
пытался (и это было для него главным)
поступить в общеобразовательную школу.
Он мечтал получить документ о среднем образовании,
учиться дальше и стать дипломированным специалистом,
достойным своего папы, который был для него почти иконой.
Вот такие ребята были мои будущие родители.

Я уже говорил раньше, что у мамы всё было немного проще:
она училась в техникуме,
«упорно преодолевая все социально-бытовые трудности».

Так писали газетным языком того времени.
Кстати, очень правильно писали.

С отцом было немного сложнее
(снова это «немного»).

Немного, но вполне достаточно,
чтобы вопрос об обучении в школе рабочей молодёжи,
с которым мой отец — молодой скромный парень —
обратился к молодому вежливому чиновнику
молодой новой власти,

превратился в совершенно нерешаемый.

Тот, обращаясь к отцу на «вы»
(а до этого все «тыкали» отцу по-свойски),
сообщил ему:

— Вы, Владимир Пантелеймонович (по имени и отчеству!),
как сын врага народа урезаны в правах,
и вам в просьбе отказано.

Получается, что кое-где кое-кто знал эту часть биографии отца.
Прав или не прав был тот чиновник, теперь уже не разобраться.
Время было такое.

Впрочем, время всегда было таким,
всегда оно решает, решает всё... и всё!

Будет война или мир, горе или счастье, рассвет или закат...
Всё, всё, всё решает время.

А люди между тем, несмотря на это,
встречаются, влюбляются, образуют семьи, рожают детей...
Что же это за сущности такие?

Здесь хочу остановить свой рассказ,
чтобы подтвердить сказанное фактами
(и ещё раз удивиться им).

Семьи моих бабушек и дедушек,
типичные по тому времени,
имели по совокупности одиннадцать детей.

У моей мамы было четыре сестры и два брата,
у моего отца — три брата.

А теперь хочу обратить внимание
на годы рождения детей в этих семьях.

Сначала перечислю детей моей бабушки со стороны мамы.

Первая — моя тётя Поля,

сёстры и братья её называли «нянька Полька».

Всю жизнь, до самой смерти она, как самая старшая,

и была им нянькой,

её год рождения — 1906.

Далее — дядя Коля, 1910 г.р.,

следующий — дядя Ваня, 1914 г.р.,

тётя Шура — 1916 г.р.,

тётя Вера — 1918 г.р.,

мама — 1920 г.р.

и последняя — тётя Марейка, 1922 г.р.

О последней своей дочери бабушка рассказывала,

что родила её на крыльце.

В деревню ворвались не то красные,

не то белые, не то зелёные

(она никогда в них не разбиралась).

Бабушка выскочила на крыльцо и от страха разродилась.

Последняя дочь (её назвали Марейка)

стала калекой от рождения:

ходить она не могла, только ползала на коленях,

говорила не совсем чётко, но была очень умной.

Несмотря на свои увечья, она прожила на свете

(на этом белом-белом свете)

более восьмидесяти лет.

Теперь перечислю дни рождения детей

в семье моего деда, сибирского чиновника.

Первый — это мой дядя Витя, 1914 г.р.

(погиб в малолетнем возрасте),

далее — дядя Аркаша, 1916 г.р.,

после — мой отец, 1918 г.р.,

и последний — дядя Павлуша, 1920 г.р.

Все знают, какие это были годы:

революция, гражданская война, раскулачивания, репрессии.
А наши деды и бабушки
в эти непростые времена не просто жили одним днём,
они верили в светлое будущее
и поэтому рождали детей.
Снова хочу воскликнуть: «Ну, что же вы за люди такие?
Кажется, само время готово склонить перед вами
свою бесшабашную голову...»

Между тем в этом безбрежном, беспокойном море времени
два одиноких существа,
такие ничтожные по сравнению с этой безбрежностью,
неотвратно двигались навстречу друг другу.
И вот осенью 1940 года у входа в Городской сад
мои будущие родители, наконец, встретились.

У меня мало сведений об этой встрече.
Вспоминаю только, как однажды, уже после войны,
мы нашей небольшой семьёй проходили
мимо Горсада и отец сказал маме:
— Помнишь, Гранночка, я встретил тебя здесь перед войной.
Был тёплый сентябрьский вечер,
и я ещё сказал тебе тогда:
«Сейчас поздно (а было совсем не поздно), я вас провожу».
Ты посмотрела на меня и согласилась...

А я, пишущий эти строки в зимний вечер 2020 года,
когда тот давний, сентябрьский вечер 1940 года
почти растворился в далёком прошлом
и нет уже той страны,
и мои родители уже упокоились рядом
на городском Черницком кладбище,
перечитываю всё, что написал, и думаю:
«Это же чудо, как просто люди находят друг друга».
А потом спрашиваю себя с недоверием:
«Неужели просто?..»
И не нахожу ответа...

Отец не любил вспоминать о фронте.
Позднее я узнал,
что все фронтовики, провоевавшие войну на передовой
так же, как отец, предпочитали не касаться этой темы.
Слишком болезненны, ещё слишком свежи были воспоминания.

Когда по радио объявили о начале войны
(радио было главным источником информации в те времена),
отец, воспитанный как патриот,
немедленно отправился в военкомат и...
Да, ему отказали.
Ему снова напомнили, что он сын врага народа.
Но прошло время (время решает всё!),
и при очередном обращении отца в военкомат
его направили в школу артиллеристов.
Так, с августа 1941 года
для него началась Великая Отечественная война.

Сегодня, в своём времени,
перелистывая страницы конспектов,
которые он писал на ускоренных курсах подготовки специалистов,
я... я диву даюсь, как молодой человек,
имевший за плечами всего лишь три класса начальной школы,
мог оперировать множеством специальных формул,
строил сложнейшие графики
для определения оптимальных углов обстрела
на пересечённой местности...

Вот какую школу прошёл он
у своего высокообразованного отца (моего деда),
который учил его основам бухгалтерского дела.

На фронт отец попал в январе 1942 года
после окончания учёбы в артиллерийской школе.
Как-то в один из субботних послевоенных вечеров,
когда я играл рядом с родителями в свои придуманные игры,
отец рассказывал маме,
что ему очень повезло в начале войны.

Он подружился с солдатом-артиллеристом,
который возвращался из госпиталя после ранения.
Во время медленного продвижения воинского состава
в сторону фронта
отец мой буквально впитывал информацию
о военной жизни на передовой.
Ею охотно делился бывалый артиллерист.
Отец узнал многие хитрости солдатского быта.
Например, как ночевать зимой в окопе и не замёрзнуть,
как обслуживать личное стрелковое оружие
в грязи, в пыли, на морозе,
узнал некоторые тонкости работы наводчика-артиллериста
в боевой обстановке,
узнал, как вести себя при бомбёжке...

Нет, каков наш солдат!
Даже жуткую убийственную бомбардировку
он называет ласково — бомбёжка.

Последнюю рекомендацию бывалого солдата
отцу пришлось проверить на практике очень скоро,
при первом в его жизни авианалёте немецких бомбардировщиков.
Отец рассказывал:
— Как сейчас помню, друг говорил мне: «Знаешь, Володя,
при бомбёжке эшелона хватай своё личное оружие, вещмешок
и беги как можно дальше от вагонов.
Ложись на землю, где придётся, накрывай голову прикладом
и лежи неподвижно.
Лётчик из самолёта лучше видит движущиеся цели».
Не успел мой друг закончить свои наставления,
как прозвучали первые взрывы...

Железнодорожный состав, в котором следовало их подразделение,
разбомбили ещё на подступах к линии обороны.
Когда немецкие самолёты отбомбились и улетели,
отец поднялся с земли и увидел, что друг его неподвижен,
ему уже не нужен был медсанбат, война для него закончилась.

Отец был потрясён.
Это была первая смерть на войне,
в которую он только, только вступал.

Как не любил отец воспоминания о войне, но однажды...
Капля камень долбит, а я и был этой каплей.
Однажды после встречи с ребятами
(так называли себя друзья-фронтовики)
он всё-таки рассказал мне,
за что был награждён первой солдатской «Отвагой».
Вот его рассказ.
«Был холодный октябрь 1943 года.
Пехота — царица полей — залегла в окопах.
Немцы плотно обстреливали из своих орудий большие площади
и не давали возможности для атаки.
Наши пушечные залпы не приносили противникам особого урона.
Я тогда считался лучшим наводчиком в подразделении.
Командир поставил передо мной задачу:
пробраться как можно ближе в сторону огневых точек врага
и передавать необходимые данные нашей артиллерии.
Нагруженный специальным оборудованием, своим верным ППШ
с запасным диском и биноклем в плотном футляре,
я полз в сторону противника, кажется, целую вечность.
Но это и была вечность, моя вечность.
Наконец нужное место нашлось:
хороший обзор военных объектов врага
и хорошее укрытие для меня — воронка от взрыва...
Наши пушки подавили артиллерию противника,
и пехота пошла в наступление.
...Я пришёл в себя от того, что на лицо моё лилась вода.
— Пришёл в себя, герой? —
спросил какой-то пехотный лейтенант.

Оказывается, немцы обнаружили меня
и стали прицельно стрелять в мою сторону из пушки.
Один из снарядов разорвался рядом с воронкой,
где я скрывался, и взрыв засыпал меня землёй.
Мне повезло, что пехотинцы увидели это.

Они меня и откапали.

После контузии от взрыва левым ухом я почти не слышу.

Когда после боёв, во время фронтового затишья мне перед строем вручали медаль «За отвагу», командир сказал мне скрытно от солдат: — Тебе, Володя, за твой подвиг положен орден, но как сыну врага народа... Ты сам понимаешь. Зато мы с замполитом рекомендуем принять тебя в ряды Компартии. Наши рекомендации уже готовы, пиши заявление. У руководства по тебе всё решено положительно.

В октябре 1943 года, когда я писал своё заявление в партию, далеко в Сибири, в ссыльном местечке Могочин умер от туберкулёза, которым заразился в местах заключения, мой папа — твой дед...»

Мой отец замолчал и надолго задумался.

Мы сидели с ним за кухонным столиком около печки, которая обогревала нашу квартиру, потом он молча поднялся, принёс все свои награды и разложил их на столике.

— Вот, — указал отец на три из них, — это серебряные медали. Две из них «За отвагу» и одна «За боевые заслуги».

Ими я был награждён за выполнение особых индивидуальных заданий при проведении боевых операций

и, конечно, чудо, что остался жив.

Другие медали — тоже боевые, но за действия уже в составе воинского подразделения.

Это был последний рассказ отца о войне.

Больше он никогда ничего не рассказывал мне о ней, а я никогда не просил его об этом.

В июле 1944 года,
после обязательного испытательного периода,
отцу моему — сыну врага народа —
был торжественно вручен партбилет.

А в девяностые годы, когда разваливался СССР,
когда многие побросали свои членские билеты,
он остался в рядах партии
и был коммунистом до самой своей смерти...

Снова доверюсь памяти,
которая шепчет мне: «А помнишь?»

Помню.

Помню, как в один из субботних вечеров
отец рассказывал моей маме шёпотом,
чтобы не разбудить меня
(но у меня-то ушки на макушке!):
— А знаешь, Гранночка, — говорил он, —
когда я вернулся с фронта,
квартира, где мы с тобой сейчас находимся,
была занята другой семьёй.

Мне об этом сказали соседи по дому.

Я стоял перед закрытой дверью в растерянности...

Война многое изменила в стране,
изменились люди, стали другими.
Друзья-фронтовики, общаясь между собой,
изменили, кажется, и сам климат
в нашем маленьком городке.

Люди того времени знали толк в боевых наградах.
Особенно ценились медали,
полученные рядовыми воинами на передовой,
а мой отец как раз и был из таких солдат.

Поэтому, когда соседи узнали о проблеме отца,
наиболее авторитетные из них
отправились с ним в районный комитет партии.

На следующий день мой отец уже хозяйничал в своей квартирке, готовясь к переезду жены и маленького сына из Новоалтайска в Барнаул...

Жизнь постепенно стала налаживаться: отменили хлебные карточки. В них уже не было нужды. В квартире рядом с нашей жила семья секретаря крайкома партии, муж и жена. Мои родители дружили с ними семьями, как тогда говорили. Секретарь крайкома партии и мой отец, сын врага народа, — друзья.

Вот так! И никто нигде не кричал о демократии.

Забегая очень далеко вперед, скажу, что отцу больше никогда ни от кого не пришлось услышать, что он — сын врага народа.

В первые же дни своей гражданской жизни он поступил в пятый класс
вечерней общеобразовательной школы.

Проходя за один учебный год два класса средней школы, отец получил долгожданный аттестат зрелости, потом окончил финансово-кредитный техникум, после — финансово-экономический институт, где много лет работал преподавателем по совместительству со своей основной деятельностью в качестве главного бухгалтера одного из заводов г. Барнаула.

Мама завершала свой трудовой путь также на административной работе. Она стала заведующей крупного детского комбината, объединяющего под своей крышей два дошкольных учреждения — детские ясли и детский сад. Здесь же она по совмещению исполняла обязанности детского врача, к большой радости родителей...

Если кому-нибудь однажды
вздумалось бы пройтись
сентябрьским субботним вечерком 1947 года
по Красноармейскому проспекту,
и пусть бы это было время бабьего лета,
то, дойдя до пересечения проспекта с улицей Интернациональной,
случись вдруг этому неизвестному прохожему
повернуть голову в сторону здания городской аптеки,
то всенепременно увидел бы он
небольшое, но вместительное сооружение
из добротных, строганных досок, окрашенных в едко зелёный цвет,
и венчающую его вывеску со скромным названием «Киоск».

Так вот, если бы так и случилось,
то обратил бы этот прохожий своё внимание
не только на это сооружение,
но и на группу взрослых мужчин около.
Одни из них построились в дисциплинированную очередь
к открытому окошку торговой точки,
другие составляли небольшие группы беседующих о чём-то.
Но всех в этом собрании объединяло то,
что у каждого из них был какой-нибудь недостаток:
у одного — не доставало руки,
у другого — вместо ноги была деревяшка,
а у кого-то вместо глаза — чёрная лента, как у пирата...

Чтобы не гадал этот случайный прохожий,
шепну ему чуть слышно:
— Это всё бывшие воины недавней войны.
Здесь они собираются по субботам поздним вечером,
беседуют между собой, а ещё больше молчат.

О, сколько же было инвалидов в эти послевоенные годы!
По утрам можно было видеть, как идут они,
поскрипывая протезами, каждый на свою работу.
Но с годами таких людей становилось меньше и меньше.
Прошедшая война всё ещё собирала свой урожай.

«Но что же делают эти люди в такой час в этом месте?» —
подумал бы этот случайный прохожий.
Снова шепну ему:
— Здесь торгуют плодоягодным вином
местного производства на разлив.
Он понимающе улыбнется.
— Но подожди, — снова шепну ему я, —
скоро появится человек-праздник.
У нас в России да, наверное, и у всех народов на земле,
в таких устоявшихся компаниях всегда найдётся человек-праздник.

...А вот и он.
У «Киоска» появляется высокий человек,
одетый, как все присутствующие.
На это даже нет смысла обращать внимание.
Да! Вместо левой ноги — деревяшка.
Вот, пожалуй, и всё...
Э, нет, не всё. В руках его гармошка.
Он раздвигает меха и без подготовки выдаёт первые частушки.
Все присутствующие зашевелились,
даже издалека чувствуется, что люди довольны.

— Тува, тува! Тува, тува! — поёт гармошка.
И вот на свободное место около гармониста
уже выдвигается небольшая фигурка человека,
который до этого был совершенно незаметен,
слишком невелик, слишком сер,
сливался с серой землей вокруг «Киоска».
Чувствуется, что он уже вполне навеселе.
Он что-то бормочет, дергает своей крупной головой
и вдруг кричит пронзительным, хриплым фальцетом:
— Могу и сплясать!
Но ног нет у него,
только деревянная каталка на стальных подшипниках...

2020 год, 27 февраля.

Белый, белый снег

в Барнауле.



Наталья Лясковская

Родилась на Украине, в городе Умани. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Поэт, прозаик, переводчик, публицист. Автор книг стихов и прозы для взрослых и детей, в том числе «Сказки о варежках и бабушках» (2014), «Сильный Ангел» (2014), «Матрона Московская» (2016) и др. Член Союза писателей России. Член Совета Международного Союза православных женщин. Живет в Москве.

ЛЕСКОВ

Глава 3

Панин Хутор

Продолжение, начало № 1, 2021

Было в Панине много милого, радостного сердцу мальчика, но на каждом шагу Лесков сталкивался и с тяжелыми, мрачными явлениями. Пьянство и сопутствующие ему мерзости, бытовые зверства, болезни и смерти детей, увь, являлись повседневностью русского крестьянства. Деревенские обитатели далеко не сплошь состояли из симпатичных дедушек и добрых теток с пирожками — не зря Лесков устами рассказчика-архиерея утверждал в повести «На краю света», что «христианство на Руси еще и не проповедано». Будничная трагичность «жития одной бабы» вмещает многие страшные реалии российской деревни: «Маленький мужичонко был рюминский Костик, а злющий такой, что упаси Господи! В семье у них была мать Мавра Петровна, Костик этот самый, два его младшие брата,

Петр и Егор, да сестра Настя. Петровна уж была-таки древняя старуха, да и удушье ее все мучило, а Петька с Егоркой были молодые ребятки и находились в ученье, один по башмачному мастерству, а другой в столярах. Оба были ребятки вострые и учились как следует. Дома оставалась только сама Петровна с Настей да с Костиком. Все они в ту пору были еще крепостными и жили в господском дворе. Панок их был у нас на Гостомле из самых дробных; всего восемнадцать душ за ним со всей мелкотой считалось, и все его крестьяне жили тут же в его дворе на месячине, — земли своей не имели. Житье было известно какое — со всячинкой; но больше всего донимала рюминских крестьян теснота. Пускай правда, что мужик не привык к кабинетам — все у него в одной избе, да по крайности там уже все своя семья, а тут на рюминском дворе всего две избы стояли, и в одной из них жило две семьи, а в другой три. Теснота, ссоры промеж себя, ябеда с сердцов друг на друга, сквернословие, — такое безобразие шло, что не приведи Бог! Дети тут так и росли в этой срамоте, и Костик тут вырос, глядячи, как покойный отец сухотил весь век свою жену, пока не вогнал ее в удушье. А Мавра Петровна отличная была женщина. Она была взята из однодворок и пошла в крепость с нужды горькой, потому что у нас в округе иные вольные в ту пору еще хуже крепостных живали: бедность страшная». Жестким реалистичным описанием дореволюционной деревенской чернухи Лесков невольно угодил даже большевикам: «Николай Семенович Лесков — уроженец одной из наиболее темных губерний Московской области, он — орловец. На родине его и до сего дня сохранились “курные” избы, печи в них без труб и топятся “по-черному”, так что весь дым валит в избу, выедавая глаза ее обитателям, покрывая стены и потолок густым слоем сажи. Эти первобытные логовища очень дороги орловскому народу, — Лесков в рассказе “Загон” интересно описал, до чего крепко привыкли мужики к своей “курной” избе». Поразительно, с какой пролетарско-литераторской ловкостью Горький, настоящий профи пропаганды, в своей статье о Лескове передергивает, искажает смысл «Загона»: в горьковской подаче Лесков и сам предстает перед нами практически «поклонником лоснящейся сажи», убеждающим читателей, что «первобытные логовища очень дороги орловскому народу»!

Сажа и прочее кажутся пустяками по сравнению с масштабной бедой — голодом. Каждый год мог стать «голодным», и тогда социально никак не защищенного крестьянина и его близких ждала мучительная смерть. Лесков еще ребенком пережил в Панине «страшный по своим ужасам» голодный 1840 год: «(...) я кое-что помню, — по крайней мере по отношению к той местности, где была деревенька моих родителей — в Орловском уезде Орловской же губернии. Значительно более того, что я помню из тогдашнего времени, как непосредственный свидетель событий, я слышал многое после от старших, которые долго не забывали ту голодовку и часто обращались к этому ужасному времени со своими воспоминаниями в рассказах по тому или другому подходившему случаю. Разумеется, все эти нынешние мои воспоминания схватывают один небольшой район нашей ближайшей местности (Орловский, Мценский и Малоархангельский уезды)».

Позже Лескову пришлось быть свидетелем еще двух «больших голодов». Один — в деревне Труфаново Мценского уезда, входившей в приход Георгиевской церкви села Цветынь, но об этом Николай Семенович почему-то вспоминать не любил, а собственно о Цветыни, где разворачивались жуткие трагедии в период голодной зимы, упомянул в совсем другом аспекте: в Цветыни, около «знаменитого Батавинского спуска», он поселил своего многострадального дьячка Лукьяна из «Мелочей архиерейской жизни»; другой — смертельный голод 1891–1892 годов. Он случился, по мнению Николая Семеновича, «из-за плохого хозяйствования и неурожая предыдущего лета». Лесков, лично участвовавший в борьбе с голодом, много читал тогда в прессе о страданиях крестьян, которые «вопиали к небу», сравнивая их с теми, которые сам наблюдал и о которых слышал в детстве. Он сделал вывод, что «впечатления, какие эти описания производят, очень слабы в сравнении с теми, что сохраняет в несвязных отрывках память о прошлых голодовках, когда не было никакой гласности и никакой общественной помощи людям, “избывавшим от глада”». Вспоминая, Лесков чуть ли не оправдывается: впечатления его, мол, «отражаются в моей памяти только в той форме, в какой они могли быть

доступны “барчуку”, жившему под родительским крылом, в защищенном от бедствия господском доме», и потому они неполны, бессвязны, отрывочны и поверхностны, но все же он считает нужным довести до сознания читателей сию горестную рапсодию: «Они (детские воспоминания Лескова — Н. Л.) отнюдь не могут представить многостороннюю картину народного бедствия, но в них все-таки, может быть, найдется нечто пригодное к тому, чтобы представить хоть кое-что из тех обстоятельств, какими сопровождалась ужасная зима в глухой, бесхлебной деревеньке сороковых годов. Словом, я решился набросать на бумагу то, что уцелело в моей памяти о давней голодовке, относящейся к той поре, о которой упомянул генерал Мальцев¹, и, приступая к этому, я вперед прошу у моих читателей снисхождения к скудости и отрывочности моего описания. Я предлагаю только то, что могу вспомнить и о чем теперь можно говорить бесстрастно и даже с отрадою, к которой дает возможность наш нынешний благополучный выход из угрожавшей нам беды. Воспоминания мои будут не столько воспоминания об общей голодовке 1840 года, сколько частные заметки о том, что случилось голодною зимою этого года в нашей деревеньке и по соседству».

Голод в «Юдоли» — явление почти апокалиптическое по неотвратимости и последствиям. Н. А. Бердяев писал: «...Русский

¹ Сотрудник одной из петербургских газет, посетив неурожайные местности России зимою 1892 года, взял интервью у известного старожилы Орловской губернии, помещика, владельца знаменитого хрустального завода генерала С. И. Мальцева, и генерал, помнящий «старинные голодовки», удивлялся, «как мы далеко ушли вперед: теперь о голоде говорит вся Россия, и раньше всех на него указало само правительство». Не то было сорок-пятьдесят лет тому назад. Тогда также случались неурожаи, но о них знали лишь министры да сами голодающие. «Я тогда, — говорил генерал Мальцев, — представил проект обеспечения народного продовольствия. Император Николай Павлович весьма сочувственно отнесся к проекту, и я решил напечатать его, но ни одна типография не согласилась взять мою рукопись для набора». Рукопись эту удалось напечатать только благодаря покровительству принца Ольденбургского. («Неделя», 19 апреля 1892 г.)

народ по метафизической своей природе и по своему призванию есть народ конца. Апокалипсис всегда играет большую роль в нашем народном слое и в высшем культурном слое, у русских писателей и мыслителей». И среди этих писателей Лесков не исключение. Голод предваряют различные знаки и предсказания: «Первыми предвозвестительницами горя — как это ни странно — были старухи, которые видели нехорошие сны. Это началось с половины Великого поста. Самую страшную сновидицею была наша птичница, гордая женщина из вольных однодворок, по имени Аграфена Петровна. Я помню, как отец один раз, придя к столу, за которым все мы сидели у вечернего чая, сказал матери, что сейчас, когда он распоряжался работами, староста Деметий объявил ему, что мужики боятся сеять «яровые», потому что птичница Аграфена и другие старухи на деревне «прорекают голод», и поэтому страшно, что семена в земле пропадут.

— Но ведь это глупо! — возразила мать. Отец пожал плечами и ответил:

— Да; это неразумно, но я не могу, однако, забыть, что во время большого неурожая в мое детство у нас об этом тоже заговорили еще перед весной, и притом также с бабьего голоса, а потом и в самом деле вышел неурожай».

Семен Дмитриевич обязал мужиков сеять яровые, а «сновидящим старухам» велел прекратить «прорекать о голодном годе», не то пойдут на всю весну «индеят и утят от коршунов караулить». Жену же свою, известную уже нам твердым характером, попросил построжее поговорить с Аграфеной. «А как я, и брат мой, и старшая сестра были в это время уже просвещены грамотою и знали по “Ста четырем священным историям”, что пророчество есть “свыше посылаемый дар дивный и таинственный”, — повествует от имени главного героя Лесков, — то нам, разумеется, было в высшей степени любопытно знать, как этот дар спустился на нашу Аграфену и как наша мать возбранит в ней этому дару». «Гордую Аграфену» нельзя было ругать, а следовало «все гладить по головке», — иначе она грубила». Она и нагубила приступившей к ней с пристрастием Марье Петровне: «Когда матушка спросила ее: “Какие ты видишь сны?” — Аграфена отвечала ей:

— Какие приснятся.
— А зачем же ты голод пророчишь?
— А отчего же не пророчить? Вестимо уж, что когда хлеба не будет, так голод будет.

— Да почему?.. Что тебе снится... что делается?

— Что ни снится и что ни делается, а все теперь будет к голоду, и я с детьми пропаду... уйду отселева. И слава те Господи! — отвечала Аграфена и ничего более не пояснила, а между тем слова ее тут же были поддержаны обстоятельствами». Обстоятельства были таковы: рассыпаемые по обычаю с колокольни «в народ» на Благовещенье «черные просвиры» «испортили»: сначала баба-дулеба, которая убиралась в церкви, — вымывши амвон, стала она «начисто воду спускать да раскатилась и вся до половины сквозь двери в алтарь просунулась», а потом и подвыпивший дьячок Аллилуй, который сверзился с колокольни, когда пытался почистить засиженные птицами малые колокола. Пока священник отпускал умирающему дьячку грехи на так называемой «глухой исповеди», причащал и читал отходную, тесто для просфор ушло из дежи. «В него только ноги перепачкали люди, принесшие Аллилуево тело, а просфор печь было не из чего... Весь приход остался без просфор, а это составляло случай в жизни крестьян небывалый, потому что у нас все были люди набожные и ни один крестьянин не выходил сеять без того, чтобы у него в «севалке», то есть в круглой лубочной коробке с зернами, не было благовещенской просфоры. Теперь же первый раз приходилось сеять без просфор, а это добра не обещало».

Ну как тут не уверовать в грядущий голод! Мужики сеять не стали ни овса, ни гречи, ни проса.

— Для чего сеять, когда все пропадет, и семян не сберешь!

Некоторые господа строго наказали крестьян за упорство; мужики битые терпели, но не сеялись, а семена спрятали в картофельных ямах, овинах, подпольях изб и других схоронах. Семен Дмитриевич Лесков «людей не стегал», но настоял, чтоб крестьяне вспахали свои участки и засеяли их. Семена он им выдал заимообразно, с обязательством возвратить из будущего урожая. «Но возвращать было не из чего: просфоряное тесто ушло — никакого урожая не было. Все посеянное — пропало. И как пропало!

с какою-то злою ирониею или с насмешкою, “точно шут сшутил”», — восклицает Николай Семенович.

Поначалу роковые пророчества вроде бы прошли стороной. Наступившая весна порадовала тучностью всходов: «Взошло все густо и сильно, вскочилось так, что уже на Юрьев день (23 апреля), когда скот выгнали первый раз с образами в поле, земля была укрыта сплошною рослою зеленью, — и зелень была такая ядреная, что ею не только наедались досыта тонкогубые овцы, но и коровы прибавили от себя удоя. К Вознесеневу дню грач в темно-синих озимых зеленях прятался, и сообразно тому “князем восходил” брошенный “в грязь” овес и поднимались из земли посеянные злаки, как вдруг в то время, когда наступила пора рассаживать на грядках выращенную в рассадниках капусту, тут и там слышались жалобы, что “стало сушить”. Рассаду и другие огородины “отливали водой”, которую таскали на себе в худых ведрах бабы, а ребятишки в кувшинчиках; но “было не отлиться” — сушь “лубенила землю”, и слышалось ужасное слово:

— Сожгло!..»

Тут уж не особо усердные к молитвам при благополучной жизни селяне по присловью «пока гром не грянет, мужик не перекрестится», «ударилась к Богу». «Каждый день молебствовали и выносили образа, то на озимые хлеба, то на яровые, но засуха стояла безотменно». Священники применили «сильное средство» — «покаяние миром», наложив вето на любые удовольствия и радости: «Веревки на вислых качелях, на улице, закинули вверх, чтобы не качались; не позволяли девкам «водить танки» (танцевать, водить хороводы — *Н. Л.*) и «играть (петь) песни». «Музицировать» разрешили только пастуху Фоньке, но и его «самодельная липовая дудка, вызывая коров, издавала слишком унылые и неприятные звуки: это заметили, должно быть, и сами коровы и не шли на вызов косолапого Фоньки, потому что он уже давно их обманывал — и выгонял их на поле, на котором им нечего было взять».

Не видя быстрого результата «ударения к Богу» крестьяне кинулись в другую крайность: пошли на поклон к колдунам да знахарям, «доморощенным мастерам черной и белой магии» (Петр Сергеевич Алферьев умер незадолго до этих событий и бороться

с мракобесием, очевидно, стало некому). Ведуны «наводили» наговорами и ворожбою на лист глухой крапивы и сдували пыль на ветер, выносили «обглоданные избенными прусаками иконки в лес и там перед ними шептали, обливали их водою и оставляли ночевать на дереве, — но дождя все-таки не было». Тут Лесков вставляет впечатляющую деталь: «Даже прекратились росы». Вот это действительно страшно! Выходишь утром в поле — трава сухая, аж звенит, ни росинки, ни даже духа влажного ветра над ним...

Народ озлобился: мужья ни за что лупили жен, старики обижали детей и невесток, били и ребят, игравших на улице в пыли в казанки и свайку. Все друг друга попрекали куском хлеба и проклинали: «О, нет на вас пропасти!» И «пропасть» явилась, да такая, что всем в ней пропасть. Эта часть повествования передана Лесковым нарочито просто, даже буднично, но мистический подтекст очевиден: однажды ночью в деревню заявился черт. Пришел «откуда-то» «незнамый человек» и, уверив темных и напуганных людей что «в этой беде попы не помогут», научил их сатанинскому ритуалу: «Надо выйти в поле с зажженной свечой, сделанной из сала опившегося человека, схороненного на распутье дорог, без креста и без пастыря». И тут же выдал огарок требуемой свечи. Прежде она была у него длинная, но он ее уже «пожег во многих местах», где было такое же бездождие, и везде там «дожди пролились». «Незнамому» собрали с мира яиц и шесть гривен денег, и вышли с ним ночью в поле, где он «читал Отчу» «и еще какую-то молитву». Какую — крестьяне не поняли, да и не могли понять, ведь это была не молитва вовсе. В те времена верные богослужебные тексты зачастую не знали даже служащие церковного причта, чего уж спрашивать с неграмотных мужиков. Услышали знакомые слова и решили: это «Отче наш». «Незнамый» к тому же «махал навкрест» зажженной свечой из человеческого сала — кощунствовал, после чего велел ждать тучу, но пригрозил: смотрите, не помешайте ей! И туча действительно появилась, но остановилась вдалеке и на поля не пошла. Селяне решили, что «помешал» ей шорник-пьяница Егор Кожиен — да и убили его. Трое самых уважаемых хозяев в деревне сознались, что по их вине сгорел оwin, где они «творили» новые свечи

«из человеческого сала», а на самом дне глубокого оврага в Долгом лесу под хворостом и сухой листвою прошлогоднего листопада нашли труп шорника: «Из Кожиенова тука все “нутреное сало” было уже “соскоблено”, и из него, по всем вероятиям, наделано достаточное количество свеч».

Колдовство не помогло: «явился глад костист и оскалом мерзок». В самом беспомощном положении оказались самые бесправные: «Злополучные крепостные люди были всех других несчастнее: они не только страдали без всякой помощи, но еще с связанными руками и с тряпицей во рту. Они даже не имели права отлучиться, и нередко их жалобы и стоны принимали за грубость, за которую наказывали. Лучшие исключения были там, где помещики скоро ужаснулись раскрывшегося перед ними деревенского положения и, побросав свои деревни, сбежали зимовать куда-нибудь в города и городишки, — “все равно куда, лишь бы избавиться от своих мужичонков” (то есть, чтобы не слышать их просьб о хлебе). Без господ крестьянам по крайней мере открывалась свобода брести куда глаза глядят и просить милостыню под чужими окнами. Впрочем, в некоторых больших экономиях “своим крестьянам” давали хлеба и картофеля в долг или со скидкой против цены, за которую отпускали “чужим людям”, но и это все было недостаточно, так как и по удешевленной цене покупать было не на что». Лесков ради того, чтобы открыть миру страдания «малых сих», воссоздает картины голода во всех его диких проявлениях: в «Юдоли» он беспощадно реалистичен, избегает столь излюбленной лексической цветистости, излишней образности. Пересказать «Юдоль» невозможно, там каждое слово, каждый факт имеют высокую историческую документальную ценность. Всем сетующим на сегодняшний «низкий уровень жизни», советуя прощальную горестную рапсодию.

В письме Л. Н. Толстому от 20 июня 1891 года вынужденный из-за тяжелой болезни проживать в Шмецке Лесков снова касается близкой и острой для него темы: «Я теперь живу на Устье-Наровы, в тишине и одиночестве, и о том, что происходит на «широком свете», узнаю только по газетам. Из них я узнал, что к Вам ездил Суворин и что теперь во многих местах обозначается большой

неурожай хлеба, угрожающий голодом. Тамбовское письмо Шелемьевой взбудоражило дух мой до смятенья и слез, и я позволю себе беспокоить Вас просьбою написать мне, как Вы находите — нужно ли нам в это горе вступать и что именно пристойно нам делать? Может быть, я бы на что-нибудь и пригодился, но я изверился во все «благие начинания» общ<ественной> благотворительности и не знаю: не повредишь ли тем, что сунешься в дело, из которого как раз и выйдет безделье? А ничего не делать — тоже трудно». Осознавая свою бесполезность, Лесков в сердцах бросает: «Ивана Ильича бы, что ли, послали на “закатанные поля” помолобствовать или еще “покататься”, как это делают в Орловской губернии», то есть — любые средства хороши, лишь бы прекратить голод, пусть бы даже «катанием и валянием» по бесплодной земле блаженного юродивого...

Где голод — там болезни. От них не скроется ни бедный, ни богатый. Одна из самых страшных — холера. От нее умер дед Николая Лескова по матери Петр Сергеевич Алферьев, от холеры скончался и батюшка Лескова — Семен Дмитриевич. А. Н. вспоминал: «По словам моего отца, в канун смерти дед, как всегда, хандрил и вечером, по обыкновению, пошел побродить в одиночку, а вернувшись, передал жене своей большой карманный платок, полный набранных на прогулке грибов, прося зажарить ему их на ужин в сметанке». Поел грибков, заболел холерой и вскоре скончался в мучениях.

Много лет спустя Николай Семенович замыслил свою «книгу сына об отце» — роман «Незаметный след». Писатель собирался рассказать о судьбе юноши, «в которого его отцом заронены семена опасных исканий, неудовлетворенности, «фантазирова-тости», словом — будущего «человека без направления», не подчиняющегося слепо чужим доктринам. «В отце юноши взяты кое-какие черты Семена Дмитриевича, — считал А. Н. — Бытовое в очень многом совершенно несхоже с событиями, происходившими в жизни отца Николая Семеновича, особенно в отношении его женитьбы. Но кое-что, по воле автора романа, сблизается, а местами творчески и призрачивается им почти из действительности. Такие, взятые из собственных воспоминаний, частности биографически ценны. Не воспользоваться ими было бы

ошибкой». В «Незаметном следе» роковые грибы² раздобыл некий дьякон Флавиан (личность апокрифическая, по мнению А. Н.), угостил отца героя произведения, а к ночи тому стало худо. В канун своей кончины он, впав в мрачное оупление, поручает дьякону «устроить будущее» своих детей, остающихся сиротами:

«— И... отдай их куда знаешь... в портные, в кузнецы... в сапожники...

— Ну вот еще, что заговорил... Для чего это «в сапожники»? Чтобы каждому к ногам сгибаться да мерки снимать...

— Все равно... нельзя не согнуться...

— Ты покушай и ляг, и не думай о том, что было. Все пойдет по-новому.

— Знаешь, в каком случае возможно, чтобы что-нибудь пошло наново?.. Это возможно тогда, если... меня не будет более на свете.

— Вот тебе и раз!

— Поверь мне, поверь: я все испортил... такой был характер. Все бегали и суетились, отца то терли, то поднимали на кресло, то опять клали на диван. Он говорил только одно слово:

— Пожалуста, пожалуста!

Когда его поднимали, он просил: «пожалуста»... Его клали — он опять повторял то же «пожалуста».

Лицо отца было страшно и точно все покрыто прилипшею к нему черною вуалью. Отец стонет и все повторяет: «Пожалуста, пожалуста!» — и через час эти крики затихли: его уже не было. Он умер утром на заре. Это была холера, первую жертвой которой лег мой отец».

² «Грибки», кстати, пригодились Лескову на творческой кухне не раз: леди Макбет Мценского уезда угостила за ужином грибами со страшным белым порошком ненавистного свекра; в Киеве «распочалась холера» с того, что старик Долинский «покушал дынь-дубовок» — в таком варианте предстали в «Обойденных» легендарные «грибки»; угостился на ночь грибами в сметане и знаменитый Оноприй Опанасович Перегуд в «Заячем ремизе».

Как лечить эпидемиологические заболевания — холеру или чуму, — в то время не знали; по всенародному убеждению, они приходили и уходили, когда сами того пожелают. Или исчезали «по жертве праведника» — такой, которую свершил святой души человек в повести Лескова: «Голован заметил косаря и, встав на ноги, в одной рубахе, громко крикнул ему:

— Малец, дай скорей косу!

Малец принес косу, а Голован говорит ему:

— Поди мне большой лопух сорви, — и как парень от него от-вернулся, он снял косу с кося, присел опять на корточки, оттянул одною рукою икру у ноги, да в один мах всю ее и отрезал прочь. Отрезанный шмат мяса величиною в деревенскую лепешку швырнул в Орлик, а сам зажал рану обеими руками и повалился.

Увидев это, Панька про все позабыл, выскочил и стал звать ко-саря. Парни взяли Голована и перетащили к нему в избу, а он здесь пришел в себя, велел достать из коробки два полотенца и скру-тить ему порез как можно крепче. Они стянули его изо всей силы, так что кровь перестала. Тогда Голован велел им поставить около него ведерце с водою и ковшик, а самим идти к своим делам и ни-кому про то, что было, не сказывать. Они же пошли и, трясаясь от ужаста, всем рассказали. А услышавшие про это сразу догада-лись, что Голован это сделал неспроста, а что он таким образом, изболясь за людей, бросил язве шмат своего тела на тот конец, чтобы он прошел жертвицей по всем русским рекам из малого Орлика в Оку, из Оки в Волгу, по всей Руси великой до широкого Каспия, и тем Голован за всех отстрадал»...

Так, страдая и радуясь, день за днем отбывал Панин Хутор свою метафизическую «повинность на земле» — сам в себе, сам по себе. Изредка просачивались в исконно-кондовый панинский жизневорот «люди извне»: то такая же бедная мелкота — заезжие офени с коробами, полными всякой всячины, бродячие шарман-щики с полудохлой обезьянкой или жирным сурком в решетча-той коробке, профессиональные нищие, запыленные паломни-ки-богомольцы; то ушлые хваткари — перекупщики, сборщики податей, шулера-трилистники и прочие подобные им.

Наезжали и «благополучные» — всегда полны руки подар-ков — родственники-англичане Шкотты «с голыми коленками»

или не менее щедрая на дары, сласти и ласки обожаемая бабушка Александра. Изредка добиралась на заемном тарантасе до любимых внучатых племянников отца тетушка, добрейшая Пелагея Дмитриевна. Но случались и пришельцы странные, будто с иной планеты, из покамест неведомого мальчику огромного мира. Среди архивных набросков Николая Семеновича, многие из которых не имели ни начала, ни конца, есть описание происшествия, оставившего глубокий след в памяти и в сердце Лескова-ребенка.

В тот день, как можно догадаться по дальнейшему тексту, Лесковы поджидали в гости младшую сестру Марьи Петровны Александру, с мужем, А. Я. Шкоттом. Николаша сгорал от нетерпения, в том же состоянии пребывал и младший брат его Алеша. Не в силах больше терпеть, дети решили перехватить гостей вблизи усадьбы и украдкой выбрались из дома. За первым же пригорком послышались движение и голоса. Решив, что это пошумливают подъезжающие Шкотты, мальчики «кинулись бегом на гору, к роднику» — с этой фразы, собственно, и начинается оригинальный литературный документ, принадлежащий перу Лескова. А далее произошло вот что:

«— Ну вот, — думали мы, — теперь-то мы их как раз и встретим... Может быть, они припоздали, может быть, сбились с дороги проселком, где так много маленьких свертков³... И тогда как мы распорядимся? Один из нас, конечно, поцелуется с тетею и вспрыгнет на козлы к ямщику, чтобы показать ему дорогу, а другой сию же секунду бросится назад к дому, чтобы скорее ставили самовар, потому что на дворе был ужасный мороз и англичане с голыми коленками должны были страшно прозябнуть. И что же вы думаете? — наши ожидания были не совсем напрасны: по мере того, как мы взбегали на горку, мы замечали в темной котловине родника какое-то движение.

Наши сельские женщины не ходили на родник ночью, потому что все они имели суеверный страх к этому месту, — и притом мы видели, что в котловине не одна или две бабы с водоносами,

³ Поворотов — местное выражение.

а что-то больше. Нам казалось, что мы видим лошадей и людей и даже слышим какой-то говор.

Признаться, мы и сами струсили, но опасение прослыть за трусов перед англичанами взяло верх над нашими оробевшими сердцами: мы схватились за руки и, поняв друг друга в молчаливом пожатии, сделали опасный шаг вперед. До слуха нашего долетали звуки тихо и робко говоривших человеческих голосов, но слова, которые мы слышали, были нам незнакомы. Родители наши не были настолько богаты, чтобы учить нас в детстве многим языкам, но у нас была своя врожденная русская сметка, и мы без всякой учености поняли, что это говорят по-английски и что люди эти не кто иные, как наши гости, которые, вероятно, не поостереглись раската и попали в котловину.

Тогда я и брат смело бросились вперед и остановились: вместо бодрых и сильных англичан, готовых каждого встретить боксом, мы увидели трех человек, которые были обернуты в жалкие лохмотья и тихо бродили вокруг дрянных санишек, на которых лежал какой-то хлам, прикрытый запорошенной снегом рогожей, и оттуда раздавался жалобный писк. Лошадь, похожая на сухой остов, обтянутый конской кожей, стояла невыпряженною в хомуте с мочальной шлеею и, дрожа от стужи, валяла в зубах клок брошенной перед нею соломы...

Мы знали, что в деревнях скот нередко страдает и падает от бескормицы, а люди погибают от стужи, и враз позабыли о своих кузенах, а бросились к этим нищим. Один из них был высокий седой старик в изорванной бараньей шапке, другой помоложе и в картузе, а третья — женщина.

— Что вы тут делаете? — закричали мы.

Они нам не отвечали и продолжали по-прежнему молча ходить вокруг саней, с которых не переставал раздаваться неумолчный жалобный писк.

— Зачем вы здесь стоите? Здесь холодно.

Высокий старик остановился, поглядел на нас, двух маленьких мальчиков, и отвечал по-русски:

— Здесь очень холодно — это правда. Мы очень озябли, мальчик.

— Чего же вы здесь ждете?

— Мы ждем!.. Мы ждем милости Божией.

— Но зачем вы не спускаетесь в деревню? Она близко, сейчас за рекой... вон, слышите, лают собаки... Вас там согреют.

— Нас!.. Нет — нас не согреют.

Я почувствовал особое усиление звука в слове «нас» и понял, что это какие-нибудь особенно дурные люди, которые сами знают, что они не стоят ничьего внимания. Я знал, что есть люди, осужденные на ссылку, на каторгу, знал и то, что эти люди оттуда иногда бегают и скрываются... Это такие и есть! — подумал я, но как мне было их очень жалко, то я сказал:

— Мне вас очень жалко. Затяните скорее хомут вашей лошади и ведите ее за нами... Мы вас проведем к риге — там вчера сушили снопы, и в печке должно быть еще немножко тепло — я вас спрячу и... завтра у нас праздник, и мне, наверно, подарят новый серебряный рубль... Я его принесу вам туда в ригу...

Старик вынул из-за пазухи руку и, положив ее мне на голову, сказал:

— Спасибо тебе, добрый мальчик, но мы с тобой не пойдем.

— Отчего? Я вас проведу так, что вас никто не заметит, а там у печи гораздо теплее.

— Да... там теплее... но ты еще молодое дитя и не понимаешь. Нас там могут найти и скажут, что мы спрятались, чтобы сделать дурное дело. Ты, верно, не знаешь, кто мы?

— Нет, я знаю, вы каторжные, но я хочу, чтобы вам было тепло.

Старик покачал головою и, вздохнув, молвил:

— Ты ошибся, дитя, мы не каторжные, но мы хуже.

Что может быть хуже каторжных, я еще не знал и сказал:

— Ничего, скажите мне: кто вы, мне все равно вас будет жалко.

— Мы жидаы!

При этом и другие два человека остановились и, вздохнув тихо, повторили:

— Да, мы жидаы.

Я и брат подались назад — я собственно теперь понял писк, который слышался из-под запорошенных снегом саней, и понял страшную угрожавшую мне опасность: там, конечно, должны быть дети, которых где-нибудь увезли эти люди и теперь с ними скрываются. Оттого они и предпочитают лучше застыть

на морозе, чем просить ночлега. Разумеется, они точно так же схватят сейчас и меня и увезут от дома, от родных и от прекрасного завтрашнего праздника...

Ужас поднял дыбом волосы на моей голове, и я бросился бежать домой с страшным криком, а прибежав, упал и долго ничего не мог рассказать встревоженным моим страхом родителям. Но наконец, когда меня успокоили, я кое-как проговорил: «Там... у родника... жида... везут детей... Меня хотели взять...»

— Что за вздор такой! — ответил отец и приказал подать себе шубку и палку, а также взял с собою меня и лакея Ивана.

Мы пришли к роднику, где жида оставались в том же самом положении, а из саней слышался тот же самый писк, только он стал теперь еще слабее и жалостнее. Отец стал говорить с евреями и узнал от...»⁴

На этом месте рукопись обрывается.

Продолжение следует.

⁴ЦГЛА.



Людмила Свирская

Родилась в Алма-Ате (Казахстан). Училась в Алтайском государственном университете на факультете филологии и журналистики. Первая книга вышла в Барнауле в серии «Авторский альманах Август» (1995). Автор семи поэтических сборников. Призер фестивалей «Эмигрантская лира — 2009» и «Русский стиль — 2017». Финалист конкурсов «Интерреальность», «Славянская лира» и др.

«Свалила за бугор» безбашенная осень —
Что с эмигрантки взять? Ни света, ни тепла.
Опять пришла зима, когда её не просят,
И свиту за собой зачем-то привела.

Три месяца: Атос, Портос и этот самый
Зловещий Арамис — уже почти аббат,
Величеству её стремясь пропеть осанну,
Свой мушкетерский плащ снимает невпопад.

А я, наоборот: закуталась до носа,
Набила чемодан бумажной ерундой,
Готовая бежать. Да хоть бы в ту же осень.
И жёлтые листья рассеять над водой.

У фонтана

Фонтан — не Треви, нет — такой, как все,
У кинозала. Рядом с «Роспечатью»
Стояла я в нелепом жёлтом платье.
(Сказала бы, что с ленточкой в косе,
Но нет — с короткой стрижкой.) У крыльца
Влюбленные, мамыши с малышами
На первый взгляд, друг другу не мешали...
Мне разве что. А я ждала отца.
Он в город мой приехал по делам
И позвонил, что, мол, увидеть хочет.
...Заснула я часа в четыре ночи...
Всё жизнь свою делила пополам:
На «до» и «после». Вот так поворот.
Отличница-студентка, ёлки-палки...
Весёлое «привет!» не скажешь папке:
Чужое слово больно вяжет рот...
Что рассказать, коль спросит, как дела?
А, может, и не спросит: просто скажет,
Что на него похожа, или даже:
«Красивая девчонка подросла!»
Мне было восемнадцать, что ли... На
Крылечке кинозала я томилась...
Час или два...а может, год... плюс-минус...
Да я там до сих пор стою.
Одна.

Я не сильная женщина, нет, не сильная
(Как и все мы) — здесь нет ни стыда, ни гордости.
Просто в сердце — камера морозильная:
Знай морозь и радости в ней, и горести.
И смешную девочку с белым бантиком,
На меня теперешнюю похожую,
И любовь, и лирику, и романтику
(Для чего оно — это всё?) заморожу я.

Потому что нет больше сил — оплакивать
И наивно верить, что время вылечит...
Доползу, чтобы счет предъявить оплаченный.
И неважно, кто потом сердце выключит.

Жить на пятом десятке спокойней и проще:
Не боишься казаться смешным и неловким,
Счастье — если поймать — отличаешь наощупь,
Начинаешь в дорогах ценить остановки,
Понимаешь, как мало нам, в сущности, надо,
Ищешь в книгах и улицах отзвуки детства...
А друзья... Что друзья? Если всё ещё рядом,
То теперь-то уж точно им некуда деться.
Новых взлётов желать или мягкой посадки?
Не пора ли разбавить и нежность, и ярость?
Ведь любовь бескорыстна на пятом десятке:
Все уже состоялось. И — не состоялось.

Что ни день — то испытание:
Беспокойная пора.
Учит сын Месопотамию,
Учит с самого утра.
Помогаю. Но, признаться, я
В мире древнем не сильна...
Колыбель цивилизации,
Скрипки первая струна.

Люди щедрые и юные
На другом конце земли
Цифры вовремя придумали,
Календарь изобрели.
Был в долине, между реками,
Первый друг и первый враг...
Тот Восток, что ближе некуда,
Вот он: Сирия, Ирак.

Как жить дальше, если истина
Не открыта до сих пор?
В карту вглядываться пристально,
Словно в общий приговор,
Чтоб спокойными казаться и
Ждать родных, пока живых...

Карусель цивилизации —
Стусток точек болевых.

Убийца-март. Кто этого хотел?
Что это — гнев богов, а может, шалость?
Вся Чехия — сплошная ИВЛ.
Здесь никогда так трудно не дышалось.
Глаза прикрою, сотню раз подряд
Надеясь разглядеть за поворотом
То очередь у входа в Пражский град,
То девушек, смеющихся на фото...

Жизнь под замком. Закрыты горы.
В своём компьютерном аду
Прилипли дети к мониторам,
А я «вживую» к ним иду.

Садясь в крутящееся кресло,
Лечу я, будто с горки вниз...
«Мороз и солнце: день чудесный!»
Оденься, выйди, оглянись!

Уже отвыкли и боятся
Смешных прогулок невопад,
Встреч, громких песен, игр и танцев...
И называют раем ад...

Их отучили от объятий
И жажды к перемене мест...
Необъяснимое проклятье —
Их многомесячный арест...

Я жду неистово — апреля:
Отступит, может быть, беда...

Как наши дети постарели
У мониторов... навсегда!

Когда я за автобусом — вдогонку,
Вздыхаю, на подножке застреваю,
Стихи ко мне стучатся потихоньку
И злятся: почему не открываю?

Когда я объясняю, что «несчастье»
Мы пишем слитно, а «не то» — раздельно,
Стихи ко мне настойчиво стучатся,
Не разделяя моего безделья.

Когда, в муке по локоть, я подробно
Склоняюсь над кастрюлей с кислым тестом,
Стихи ломают двери. Лезут в окна.
И вот я их впускаю. Наконец-то.

Не дождь, не снег — но что-то сыплет с неба.
Душа — от безысходности до гнева —
Опять проходит тёмный коридор.
Царит в соседней комнате Бетховен,
Блины печёт мой самый младший Овен,
А я смотрю в потухший монитор.

Бывает так на свете — что поделать?
В шестнадцать, двадцать восемь, сорок девять:
Безрадостно, бессмысленно, без... Но
Стреляет кошка искрами покоя...
Не дождь, не снег, а что-нибудь такое
Пробьётся к нам на Землю всё равно.



Денис Маслаков

Родился в Барнауле в 1996 г.
Окончил НИУ «Высшая школа экономики» (Москва) по программам «Журналистика» (бакалавриат) и «Литературное мастерство» (магистратура). Живет в Москве.

Такая вот весна

Весну мы носим на своём горбе
И слышим скрип сустава при ходьбе
И стон шлагбаума в приветственном поклоне.
В тепле мои стерильные ладони,
И есть иммунитет к стерильной тишине.
Ведь нет плохой погоды у природы,
На каждый шаг свои найдутся коды.
Застывший тихий час по всей стране.
Остановись, мгновение, извне.

Скоро четверть века

Часовая стрелка отлежала бок.
Скоро четверть века, повторяет Блок.
Кажется, лишь повод облачиться в текст,
Где размером с город вспыхнет манифест.

Мы доске почёта больше не нужны.
Вспоминает кто-то из другой страны,
Как с тяжёлым вздохом садит нас на клей.
Из другой эпохи слово «юбилей».

В феврале чернила доставать нельзя.
«Всё однажды было», — вторят мне друзья.
Начинай сначала, будто нет и лет.
Головой качает психотерапевт.

Если я в порыве не сказал: «Merci»,
Сберегу в архиве пыльное «прости».
И билет счастливый сохраняю впрок,
Ведь прекрасно было тем, кто так далёк.

Пишут мемуары чаты и скрины.
Мы уходим в баны, избежав войны.
Цепи, а не цели образуют путь,
И фольгой время хочет обернуть.

Мишка не виновен, мишка улетел.
Заблудились в море тел и антител.
Время нам не лекарь, время нам — курок.
Скоро четверть века, повторяет Блок.

Наши жизни — пули. Выстрел — и опять
Мы к груди прильнули и тревожим мать.
Разливают масло, а не молоко.
Где-то там прекрасно, только далеко.

Самолёт

Мой самолёт назвали в честь поэта.
Немудрено, ведь где-то под шасси
Живёт планета, полная любви,
Её не застрелить из пистолета.
И те же облака — пусть физика одна,
Не покидает ощущение сна.
Вот видишь, незаметно пролетает
Чуть ниже уровня крыла
Душа твоя. Белеют купола
Воздушных масс — то воплощенье рая
Из вечных снов.

И я на всё готов,
Когда рукой потрогать можно город,
Когда горе застёгиваешь ворот,
Планете останавливаешь кровь.
Пробьётся луч сквозь толстое стекло,
Наверно, что-то светлое взбрело.
И сто ударов в такт сердцебиению.
Я здесь оставлю мысли на хранение.
Условие одно — источник света.

Мой самолёт назвали в честь поэта.

Поезд

Я жду начала новых строк.
Мой дом — Москва, Владивосток,
Седьмой вагон. И вновь погон
Кладёт на плечи вещей сон.

Глаза бегут по проводам,
Любовь — по моногородам,
А вот и БАМ. Привет всем вам,
Пока не вымершим мирам.

Зимою дышит весь плацкарт,
Ещё февраль — и завтра март.
А я распят, совсем не свят,
Меня когда-нибудь простят.

Опять над избами дымит,
И где-то там метеорит
Пока летит и сладко спит,
На сутки выпав из орбит.

Спят все на станциях вожди,
Ты мне навстречу не иди,
А только жди. Давай без лжи.
Тебе — другие рубежи.

И я смотрю с моста на лёд,
Где рыба больше не клюёт,
И треснет лёд. Рыбак уйдёт,
Когда-нибудь и мой черёд.

Любой забудет этот страх,
Ведь поезд мчит на всех парах,
Мрак в небесах и на устах,
Во всех невидимых местах.

Зачем всё это... Нет, не жаль,
И бог найдёт свою скрижаль.
Не провожай. Внутри пожар,
И поезд превратится в пар.

Детский домик

Песчаная дорожка в старом парке, усыпанная листьями навек,
Меня приводит на картинку с марки, почти забытый,
одинокий брег.

Давно уж пруд покрыт зелёной тиной,
отсюда время будто бы ушло,
И люда нет, а значит, нет рутины, и тихо дремлет Царское село.
Средь водной глади виден только остров,
он создан человеческой рукой.

Здесь домик есть, спланирован он просто.
История уходит на покой,
Забудет современник место это, останутся лишь память и стихи,
Стихи давно забытого поэта, пускай они и будут так плохи.
Как жаль, в то время не было экранов и камер,
что рождают нам кино.

Я снял бы фильм, как маленький Романов
играет здесь с сестрою в домино.

Но кончено, паромы затонули, и детство в консервацию ушло.
Попала в цель отправленная пуля. Я вижу запотевшее стекло,
Замок на двух дверях такой тяжёлый,
что двое не поднимут этот груз.

Закрыта императорская школа сейчас не император, не Союз,
Совсем другие времена настали. Спасибо, заколачивайте дверь.
И Александр Романов после бала вернётся вновь
в дворцовую постель.

Петербургское

«Сапсан», прибывающий к морю, — классический ныне побег.
В железное время в фаворе бессмертный Серебряный век.
Когда ещё дремлют каналы, луна заправляет постель,
Столовая, что у вокзала, уже принимает гостей.

Атлант, охраняющий город, к земле ненадолго приник —
Дожди из латунных жетонов в метро образуют час-пик.
Впитали ребристые крыши следы от вчерашней пурги.
Трамвай электричеством дышит, уже нарезая круги.

Врезается шпиль томагавком в нависшую серую мглу,
А солнце метнулось в Канавку, как пуганый пёс в конуру.
Следы молодого повесы веками брусчатка хранит,
И только засилье прогресса тревожит классический вид.

Закрытые на зиму боги не спят в деревянных гробах,
Весною пропахшие строки бурят вековой ледостав,
И мартовский приступ веселья настиг эрмитажных котлов,
В столицу вернулся Есенин, но только в обличье стихов.

Несётся в автобусе детском в музей на экскурсию класс,
А где-то гуляет Введенский и жить не торопится Хармс.
Среди бесконечных потоков и их углекислых паров
В училище едет Набоков, свидания ждёт Гумилёв.

Эпох пролетело немало. Сжимается время в тиски,
Уже москвичи на вокзале и лёгкие их рюкзаки
Спешат поскорее умчаться, чтоб снова вернуться сюда,
В тот город, где мнимое счастье встречает большая вода.



Юрий Кабанков

Родился во Владивостоке в 1954 году. Поэт, критик, публицист, филолог, богослов. Служил на Тихоокеанском флоте. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького (1983). Член Союза писателей России. Автор десятка книг и множества публикаций в периодике. Лауреат нескольких престижных литературных премий, в их числе Всероссийская премия им. А. Дельвига (2013), Международная Волошинская премия (2015). Проживает в Крыму под Севастополем, в селе Фронтном.

«ДУШИ СПАСЕННЫХ ВО ТЬМУ НЕ ГЛЯДЯТ»

... Прочитавши — как бы впервые — эти загустевшие тексты нашей переписки, я ощутил сугубую благодарность судьбе, Богу (но уж никак не случаю!) за эту Встречу — раз. И два: чувство несмолкаемой вины за то, что — когда это было и возможно и необходимо — не откликнулся — тут же! — на зов... Ну и третье, объединяющее эти два посыла: невозможность дотянуться до уровня небесной чистоты и прозрачности, которыми Валентин Яковлевич КУРБАТОВ обладал как данностью, изначально; не дотянуться — ни ТОГДА, когда он явственно был с нами, ни, тем паче, теперь, когда он, щурясь, поглядывает на нас ОТТУДА.

Коллеги верно сказали: «Русская литература потеряла кормчего. И русская культура в целом. [...] УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ КУРБАТОВ».

По-иному это «со-бытие» не воспринимается. Разве что сказать словами Сергея Аверинцева (на смерть А.Ф. Лосева): «Умер великий Пан...» Не шляхтенский, конечно, спесивый пан, а тот, который — античный, греческий, может быть, врубелевский — с тростниковой свирелью от нимфы Сиринги. Тот Пан, который (не только в восприятии древних орфиков) постепенно-неожиданно становится символом всеобщности, целостности Вселенной; а звук его свирели — выражением «музыки небесных сфер». Смерть заслуживает такого высокого пафоса, тем более что помимо «воодушевления» в пафосе кроется и «страдание». Наше страдание осиротелости. И выражение «умер великий Пан» означает не только смерть выдающегося человека, но и конец целой эпохи...

...однако, слава Богу, покуда еще не Конец Света. Валентин Яковлевич вряд ли одобрил бы черный креп наших стенаний и соболезнований. Поскольку Рождество Христово и Пасха Воскресения были (и остаются! мы ведь — о вечной жизни) свойством и сущностью его мудрого, не устающего (вовсе веков!) радоваться сердца. Последняя его весточка — накануне нынешнего Рождества:

«Эх, брат Георгий, как бы я спел сейчас у Вашего крыльца «Рождество Христово — ангел прилетел. Он летел по небу, тихо песню пел: “Вы, люди, ликуйте! Днесь все торжествуйте — Днесь Христово Рождество!”». Но Вы вона где и «между нами снега и снега...», а оно, сердце-то, слава Богу, пока проворнее поездов и самолетов, и можно р-раз — и обняться и опять сидеть рядышком и распутывать клубки мира, которые запутываются все изобретательнее, и уж скоро их без Господней помощи уже не распутаешь. И это узорочье все витиеватее и, видно, уже не обходится без ревнивого Художника, он же — Князь мира сего. Ну что ж, встанем в Красный угол и поверим, что если наберем веры с горчишное зерно, то и «возсия мирови свет разума» и уже не затмится веками. И «звездам служащие» будут учиться Звездю, восшедшей над яслями. А мы рядышком на высоком месте между волон и ослом. Обнимаю. Пошли за Звездой!

Ваш беспокойный брат Валентин Курбатов.»

И я ему — в тот же день: «...Пошли за звездой! Такая радость! С Рождеством Христовым, дорогой брат! Я же когда молчу (виноват!) — я о Вас, Валентин Яковлевич, молчу, так уж получается... Вот, Христос уже нарождается...»

...Пятнадцать — без году — лет нашей дружбе, которые во многом уравнивали и смиряли мою мятущуюся душу. Особенно интенсивно «обмен энергиями» происходил у нас, повторюсь, накануне Рождества и Пасхи. Вот, десять лет тому, 31 декабря 2010 года:

«Дорогой брат Георгий! Оставили ли Вы наконец прошлогодние недуги? Светло ли Ваше сердце на новом пороге? А я вдруг догадался, что румяный дедушка Мороз с накрашенными свеклой щеками не кто иной, как переодетый старик Харон, который злорадно стучится раз в год у нашего порога: ну что? расслабились? думали, что так уж и будете сеять дни на камни да при дороге?»

А только он, дурачина, не знает, что у нас уж на пороге Рождество Христово, и когда он переправится на свой берег с новым «товаром», он увидит, что берег его опять пуст, а мы там — на берегу жизни. И опять — дети. Только бы нам помнить, как мы платим за наше детство. Старик Харон может не отчаиваться — он свой обол получит. И мы вернуться-то на берег жизни вернемся, да только на чердаке наш портрет, как у молодого старика Дориана Грея, день ото дня сморщивается и ветшает, покуда не достигнет нас, если мы не догадаемся, что «детство» и возвращение на берег жизни требует от души труда и труда.

С новым Годом! С Рождеством Христовым! Обнимемся перед вызовами времени, чтобы оно знало, что порознь — да, мы слабы, а вместе — мы еще постоим!

С любовью и страшной тоской от невозможности прямой переклички сердца и сердца (вы от письма к письму все роднее).

Ваш безродный брат Валентин Курбатов».

Не все мои «плетения словес» он принимал безоговорочно, но стихотворение, написанное к его сентябрьскому юбилею, Валентин Яковлевич принял «радостным сердцем», сказав, что Харон может и подождать со своим оболом...

СПАСИ ГОСПОДИ ЛЮДИ ТВОЯ

Валентину Курбатову

солнечный гравий шуршит под колёсами
медленно рушатся горы белёдые
время пытается течь вспять
реки иссохли — не выплакать прошлого
слишком живого и может быть пошлого
память не в силах с колен встать
переполняя сердечной молитвою
звёздную чашу с житейской ловитвою
вольный Стрелец и невольный Сократ
так и стояли бы как в карауле
с праздною думкой о киндзмараули
как на повторе — хмелея стократ
в том настоящем которого нету
на киноплёнке вращая планету
сквозь целлулоид как птицы летят
сны и песчинки небесной шрапнели
у Страдивари — да и у Гварнери
гнёзда уключин певуче скрипят
в долгом плавучем житейском бараке
Свет обретая в Божественном мраке
струны как жилы басово гудят
впившись в плечо молодого Харона
плавится солнечная корона
души спасённых во тьму не глядят

29 (16) сентября 2019

Радости Царствия Небесного рабу Божию Валентину!
Господи, со святыми упокой!

Юрий Кабанков, 10 апреля (28 марта) 2021,
Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.
Поминовение усопших.

20.03.07

Здравствуйте, уважаемый Валентин Яковлевич!

Простите мое дерзновение, но это Елена Елагина убедительно настояла на том, что «было бы хорошо» послать Вам мою книгу «Одухотворение текста», что книга «придется ко двору» и мое обращение к Вам не будет выглядеть как тот гость, что хуже татарина. Был бы очень рад, если бы все оказалось так, как предполагает Елена.

Со своей стороны скажу, что я Ваш благодарный читатель и — очень надеюсь — единомышленник. Знаю Вас больше по периодике. А Вашу переписку с Виктором Петровичем Астафьевым прочел на одном дыхании.

Конечно же, мое душевное расположение к Вам не обязывает Вас принимать меня со всеми моими перьями и перепонками. Однако мне «само собой» приятно, что случай предоставил мне возможность преподнести Вам, как говорится, мой скромный труд, к коему присовокупляю еще и «Камни преткновенные», да еще и стихотворные — это уже по собственной инициативе.

Здоровья Вам. Простите за вторжение. Юрий Кабанков.

8.04.07

Дорогой (вот так сразу!) Юрий Николаевич!

Я получил и Ваши «Камни преткновенные», и «Одухотворение текста». Пока прочитал только «Камни». И подавленно замолчал. Как это мощно, властно, уверенно, духовно твердо и основательно. Подавленность моя легко объяснима. Я тоже дерзаю иногда писать на границе церкви и бедной нашей словесности, но хожу как по углям, боюсь матери церкви. А я еще по Византии поездил, к отцам Церкви наведалься и там наумничался. Умничал поневоле, потому что не сам ездил, а «меня возили», и надо было отрабатывать гостиничный стол и дорогу. А уж там, как в древнюю-то церковь уйдешь, там ведь и ереси вона какие. И все так тонки, что успеешь и донатистом побыть, и несторианцем, и арианцем. Никаких пощечин не хватит у нашего Святителя Николая, чтобы вразумить. Поэтому стараешься особенно-то не мудрствовать, а больше петушком-петушком да и домой, под крыло родного благочестия.

Образчик вот сейчас и приложу. Это последняя глава, написанная перед Постом после февральской поездки в Миры Ликийские. До этого вышла разошлась толстая пышная книжка с морем фотографий моего благодетеля о прежних поездках, так что тут многое отсылает туда. А все-таки, думаю, что все недуги тотчас и видны – бедное лукавство стилия, прячущее неведение. Я очень благодарен Елене Васильевне за знакомство с Вами. Очень жалею, что Вы так далеко, а то бы немедленно заманил к нам в Михайловское на Пушкинский праздник. А коли окажетесь поблизости (в Москве, Питере), то в Михайловском Вам будут рады. Там еще, слава Богу, высокую поэзию слышат и церкви не чуждаются.

А пока с радостью поздравляю Вас со светлым Христовым воскресением. «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя». Меня поражает эта исполненная света преисподняя и этот пустеющий ад. «Безмерное Твое благоутробие, адовыми узами содержимии зряще, к свету идяшу, Христе, веселыми ногами, Пасху хваляще вечную». Мы ведь не райских селений в будущем жильцы, и каждый про себя это знает, и так вот отраднo получить утешение и поторопиться с амнистией, чтобы еще и не попав к месту назначения, уже «веселыми ногами» поспешить вон. Спасибо, дорогой (!) Юрий Николаевич! перекликнемся через всю Россию. Обнимемся.

Христос Воскресе!

Ваш Валентин Курбатов.

15.04.07

Дорогой (уж воистину!) Валентин Яковлевич! Воистину Воскресе!

Простите, что не сразу откликаюсь на столь ценное для меня письмо. Во-первых, был ошеломлен таким — скажу — благодарным Вашим ответом. Как следствие — поначалу оставлял «на сладкое»: вот, мол, утишится многозаботливая круговерть, и тогда с головой погружусь в эту зыбкую тишину письмослагания. Ан не тут-то было! Сам же написал когда-то: «Ужели, — думал я, — так беззащитны люди/от призрачных надежд, что каждому на блюде/повинен Ты нести ключи от врат Своих?» Но главное, наверно, не это. Как писал один монах, «недостойнство

безгласием связует язык». Тем более — после Вашего отзыва о «Камнях». Принимая Ваши слова за чистую монету (а по-другому Вас воспринимать не получится), — остолбенел, «в зобу дыханье сперло», — ну, не каркать же во все это самое горло! А по прочтении «Жития и жизни» и вовсе язык прикусил. Примеряю на себя (и мне впору) пушкинское «Нет ни в чем вам благодати,/С счастьем у вас разлад;/И прекрасны вы некстати,/И умны вы невпопад». Это я о своих «прозаических» текстах: там, где, в общем-то, проще пареной репы, я кружева из воздуха плету. Потому-то один товарищ в качестве дифирамба преподнес такое медово-едкое двустишие: «Читать всё это невозможно, но невозможно не читать». То есть читал бы, когда бы текст был ясен и прозрачен. Вам, к счастью, такая прозрачность дается: и кинематографическая зримость, и сопряжение далеко отстоящих друг от друга и времён, и понятий.

Одна моя студентка, которая пишет курсовую по иконографии святителя Николая, просила испросить вашего позволения использовать (цитировать) в своей работе кое-какие моменты Вашего «текста». Я же, со своей стороны, прошу о том же для себя.

В общем, подарок для меня бесценный. Я имею в виду не только (и даже столько) «тексты», сколько само Ваше существование (тем более греет, что не в белокаменной, а в «провинциальном Пескове»). Хотелось бы длить и «греть за пазухой» это ощущение. Обнимаю вас. Простите еще раз. Здоровья Вам, остального желать не буду.

Ваш Юрий Кабанков.

P. S. Прилагаю «Веселыми ногами» моего харьковского друга Станислава Минакова. Может быть, пусть и не скоро, образуется у Вас досуг, и Вы не спеша прочтете этот, на мой взгляд, замечательно православный текст.

20.04.07

Дорогой Юрий Николаевич!

Слава Богу, а то я уж думал, что у Вас адрес переменялся. Написал на всякий случай обычное (бумажное) письмо с тем же извинением за свое легкомыслие, особенно очевидное после прочтения книги «Одухотворение текста». Хотел было вначале

даже послать свою книжку «Перед вечером» (вариант «избранного», выпущенный в Пскове накануне 60-летия — сейчас мне 67), но после прочтения «Одухотворения» от смущения спрятал ее подальше с глаз долой, чтобы и самому не попадалась. А вот когда выйдет «турецкая», — пришлю. Там тоже ересей и пустяков целый воз, но оттого, что материал географически далек, я более защищен, чем Минаков, пишущий о родных святынях (пока только начал читать и откладываю до более спокойной минуты).

Прибавлю сейчас только несколько страничек из этой будущей книжки о своем обосновании: зачем пускаешься в паломничество? Тут у нас с Минаковым побудительные причины разные. И одну главку «так» — «для чтения». Книжка выходит толстоватая и скучноватая, как, впрочем, все «путеводительские» книги — нельзя быть благочестивым двадцать четыре часа подряд. Прочитал, что Вы в одном из «воплощений» туляк. Попрошу Владимира Ильича Толстого пригласить Вас в этом году в сентябре на наши очередные Яснополянские Литературные встречи, которые прошли уже двенадцать раз.

Вдруг у него найдутся деньги. А то сам-то я ни за что до Владивостока не доеду — потребуется несколько моих пенсий, а у Толстого может выйти. Повидаться же очень хочется. Там мне нужна и «теологическая» поддержка — непременно каждый раз кто-нибудь затеет «прения» о Толстовском «отступничестве». А с текстом, который я послал Вам, делайте что хотите: пусть цитируют студенты, поют уличные нищие, переводят на цитатники китайцы и корейцы обеих Корей.

С сердечной благодарностью. Ваш В. Курбатов.

Продолжение следует.



Станислав Минаков

Родился в 1959 году в Харькове. Поэт, прозаик, переводчик, эссеист, публицист. Жил и учился в Белгороде. Автор поэтических сборников «Имярек» (1992), «Вервь» (1993), «Листобой» (1997), «Хождение» (2004), «Невма» (2011), «Снить» (2014), а также книг прозы, энциклопедий и альбомов. Лауреат многочисленных литературных премий. Награжден золотой медалью «Василий Шукшин» (2014). Живет в Белгороде.

«НО В ДРУЖЕСТВЕ НАВЕКИ СВЕДЕНЫ...»

*Из писем Валентина
Курбатова Станиславу Минакову*

2.11.2012 г.

«Ведь читал, читал, Станислав! И что-то из Вашей “Невмы” — знаю.

И в “посылках” Кабанкова, и в нет-нет присылаемых “передачах” Светланы Кековой. Но там, словно из милости, они мне пространство для дыхания оставляли. Прочитал, пережил да и отдохни.

Больно плотны стихи напряжением духа и сердца. А тут Вы навалились, и я и вздохнуть не могу, и бросить — тоже. Словно мы оба под епитрахилью оказались, и Бог весть кто кого исповедует — я ли Вас, Вы ли меня. Такой горячий задышливый шепот.

Не “во ушью”, а прямо в сердце. Слава Богу, нет-нет перебьется дыхание “песнью песней”, плотью и страстью, вспомнишь свою “плоть человечу”, вылетишь “на улицу”, поглядишь незряче

на прохожего человека, как на диковину, да и обратно в храм — спастись от этого уличного видения или от самого себя. И само уж наловчился прятаться от себя, накидывать какую-никакую одежонку, а Вы все вон “нагишом”, и меня заставляете ряженье-то оставить, а как Господь сложил со всею тьмою в душе, так и вставать перед Ним, потому что иначе ее не выжжешь и не выведешь. С непривычки-то чижало.

Но, спаси Бог, бьюсь с Вами у святых мощей, мокну под оптинскими дождями, “макаюсь” в Шамординские воды, ищу “камушек” в Дивееве и светаю понемногу. Но еще читать и читать. Пока в половине бреда.

Благодарю и обнимаю Вас. Ваш В. Курбатов».

6.11.2012 г.

«Пришли, пришли книги-то, Станислав!

И так верчу, и этак — не верю! Пошарил, было, глазами в поисках автографа, а потом вспомнил, как сам много лет назад в совершенно отчаянном положении понес букинистам пяток книжек в чайнии дожить на них до зарплаты (сын маленький болел, лекарств не было, а я получал в корректорах пятьдесят рублей “чистыми”).

А у меня книжки-то и не взяли: “Испорчены они у Вас”, — говорят. А “испорчены” они были автографами В. Астафьева, В. Конецкого, Б. Окуджавы (сами-то “портильщики” мне разрешили — “раз прижало”). С той поры и сам стараюсь “не портить” — а то вдруг человека прижмет, а ему и не укрепиться дружеской книгой, как куском хлеба, в крайний момент.

Спасибо. Теперь можно и “по-человечески” почитать, и людям показать.

Слава Богу, отозвался и брат Георгий Кабанков, а то уж не знал, что и думать. Привяжешься сердцем, а потом вот и думай.

Благодарю и обнимаю. Ваш В. Курбатов».

28.12.2012 г.

«Вон че делается, дорогой Станислав — опять ведь Новый год!

К старому не успел привыкнуть, наглядеться на него не успел, а уж вот пожалуйте — Новый! Ну что ж, “откупорим шампанского

бутылку и перечтем “Женитьбу Фигаро” (уж не “иль”, как у Александра Сергеевича, а “и”, потому что порознь-то, чтобы перемочь эту спринтерскую гонку годов, ни шампанского, ни “Женитьбы” не хватит. Вместе надо брать — “больше одной пары в руки не давать!”).

И раз со старым счастьем не очень получилось, пожелаем друг другу нового и обманемся еще раз.

Поклон и поздравление Ане. Ваш В. Курбатов».

25.06.2014 г.

«Простите, Станислав Александрович, не ответил тотчас, потому что только сегодня воротился из Иркутска, где восемь лет провожу писательские встречи. Начали почти шутя, а народ втянулся, и вот уже восемь лет полный зал академического театра с бельэтажем и балконом слушает целый вечер одного литератора.

Трудно поверить, но уже четвертый год слушает за деньги — билеты покупают.

На этот раз возил Владимира Ильича Толстого и Евгения Водолазкина. Умничали напропалую. А потом два дня бездельничали на Байкале в пирах и купаниях. Без новостей и телевизора. Воротились румяные и толстые. И уж теперь от мира не спрячешься. Откроешь телевизионное окошко, и сразу становится стыдно жить.

Фотографии Ваши прекрасны, и лица родные. Как прижмет, открою и обниму Вас, и опять можно идти потихоньку дальше. Спасибо.

Ваш В. Курбатов».

6.01.2015 г.

«Дорогой Станислав!

А ведь Рождество! Боюсь и спрашивать, каково оно в Харькове? До колядок ли? Впрочем, Он ведь и рождался не для одного света и не умел освободить нас от печали и свободы, хотя тайну бессмертия знал.

Мир накануне Господня Рожденья
Тих и таинствен, нигде ни движенья.
Ночь замерла, ибо всходит звезда
Прямо над сердцем Марии и Сына,
В небе волхвов и в пастушьих долинах,
Мир разделяя на «нет» и на «да»...
В небе звезда молодая играет,
В яслях Младенца волы согревают
Нежным дыханьем, и Дева глядит,
Как Её Сын над землею светает...
Завтра Он встанет и мир победит,
Будет поруган людьми и убит.
Пусть Он подольше об этом не знает...
...Господи, тише, Дитя Твоё спит!

С Праздником!
Света Вам и покоя!
Ваш В. Курбатов».

28.02.2015 г.

«Дорогой Станислав! Я уже попадал с Патриаршей премией.
Даже получил ее, но все это совершенная случайность. Во всяком случае, мою книгу, я уверен, никто не читал — обманулись географией (Псков все-таки!) и именем книжки (“Батюшки мои”), а прочитали бы, так, пожалуй, и расстреляли у храмового забора.

Конечно, такая Премия — большая защита на местном уровне. А Вам она тем более важна в Вашем сегодняшнем обстоянии, но тут тем более важно “не попасться” (чтобы не получить Премию в политической окраске).

Все время мы под угрозой быть разыгранными в чужие карты. Хотя сам уже готов написать разные “открытые письма” в защиту Путина, потому что вижу, как бесстыдна заварившаяся вокруг него каша.

Никогда, кажется, не было более трудного для русского литератора времени — никак своего имени в чистоте не удержать. Можно быть предельно искренним, но эта искренность в чужом контексте уже ангажирована.

Старый человек, я с утра гляжу на свои книжные полки и даже не могу вместе с Александром Сергеичем сказать: “Прощайте, друзья мои”, потому что и самих “друзей” столько раз ставили в ложные контексты, что они почти позабыли свои первоначальные глаголы.

Простите мне это брюзжание. Я изо всех сил желаю Вам победы в конкурсе. И если не окончательной, то хоть “короткого списка” (потому что он тоже защитит Вас), но все-таки примем вызов времени и будем учиться быть людьми (иногда кажется, что эта честь выпадает нам впервые — так загоняет нас время).

Пока я и сам не знаю, что это такое “быть людьми”, но бессознательно слышу. Отец Серафим (Тяпочкин), наверно, бы улыбнулся нашим тревогам, но мы не зря ездим к нему, потому что меняется только одежда нашего страдания, а существо остается то же — страдание.

Помоги Вам Бог! И всем нам!
С любовью Ваш В. Курбатов».

11.04.2015 г.

«Дорогой Станислав! Все не приду в себя после смерти В. Г. Распутина.

Мы сорок лет были вместе, и я временами только за него и держался, когда отчаяние обступало от нечистоты дня. Сегодня как-то особенно остро-лично слышу:

“Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в оны”.

Ведь подлинно каждый день — сей! Каждый назван и узнан в лицо как единственный.

“Очистим чувства и узрим неприступным светом Воскресения Христа блистающая, и радуйтесь рекуща ясно да услышим победную поюще Воскресения день и просветимся торжеством, и друг друга обьемем”.

Очистим, очистим, хотя уж иногда кажется, что мир и мы сами столько натащили в наши “чувствия” неотмываемого, что все наши духовные “гигиенические” поползновения тщетны.

А все-таки “обьемся” и не оставим надежды.

Христос Воскресе!
Ваш В. Курбатов».

31.12.2015 г.

«Дорогой Станислав! А Вы в окно-то давно выглядывали?»

У нас уж вон волхвы вышли с дарами смиренны, алоэ и золота (кротости, любви и бессмертия) и Вифлеемская звезда уже возшла над елкой, чтобы вести нас к свету Рождества.

Подпояшемся, и вперед! И опять поверим, что “возсия мирови свет разума”, хотя мир изо всех сил торопится погасить этот свет.

И все-таки света и света!

Обнимаю Вас. Ваш В. Курбатов. И Александр Сергеич с няней».

18.01.2016 г.

«Глас Господень на водах вопиет, глаголя: приидите, примите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия...»

Как же! Так мы и разбежались, ведь потом с этим Духом премудрости, разума и страха Божия надо сразу иначе жить и отвечать за каждое слово и поступок.

А мы лучше сходим “за водичкой”, отметимся, и живи себе дальше...

А Глас все вопиет и вопиет и “секира все при корене”, а мы вперед, за батюшкой-прогрессом.

И с каждым днем безумнее.

Простите, дорогой Станислав, за такое неловкое поздравление.

Да усталость к радости не пускает, хотя все еще и подставляюсь под Иорданскую воду Крестителя.

Ваш В. Курбатов».

3.02.2016 г.

«Дорогой Станислав! Ира Ушакова переслала мне Вашу “Снить”, и я радуюсь ей во всякую свободную минуту. Экая какая свободная уличность и какая свобода в церкви! И какая любовь!

А я, грешный, вроде все время в церкви, но все никак угла себе там не найду. Все мне “интеллектуальные” попы попадают, все без простоты и жизни.

Только и утешаюсь в службе чтением Апостола на Литургии, да канонов на всенощной — только в них и находишься “по водам”, наглядись на человеческую неисчерпаемость, да надышишься простотой и глубиной.

А Вы вон идете себе в посконной рубахе от села к селу, поете Лазаря, славите Господа Сил самыми родными глаголами, будто и без выбора, а прямо первыми, что под рукой. И все Вам родные, и будто и не посвящения пишете, а молитесь о каждом с улыбкой и радостью быть рядом.

Вот и я за спиной у Вас хожу от двора ко двору и всем потихоньку кланяюсь — Юре Кабанкову, Ирине Евсе, Павлу Крючкову, Светлане Кековой, и они мне сквозь Вас кивают с улыбкой...

Спаси, Господи, за счастье единства.

Ваш В. Курбатов».

4.02.2016 г.

«Эх, жалко — пропустил Ваше старое сочинение про наши Псковские святые.

Даже вон, оказывается, про храм Иоанна Предтечи писали. Я отдал ему восемнадцать лет. Отнимал его у Советской власти, вывозил горы мусора, хоронил черепа расстрелянных (и наши, и “ихние” любили расстреливать в храмах — стены толстые, тихо — “никого не беспокоят”), писал эпитафию на кресте в приделе с молитвой о жертвах иноземного и отечественного насилия (немцы расстреливали большевиков, большевики до этого — матушек этого монастыря), читал там шестопсалмие и Апостол, даже умствовал по благословению после того, как походил дорогами апостола Павла и знал, какое солнце пекло ему лысину в Галатии, какие камешки кололи ступни в Пиерии. А потом храм стал подворьем Крыпецкого монастыря, и уж тут не до общины — там заботы другие. Надобность во мне отпала, и я пошел искать приюта по другим храмам, и все вот пока нигде намертво не прилеплюсь — все уже стало гладкое, позабыло святую начальную бедность и горение.

И эх, бы поглядел стихи-то Ваши на “Метель” (я знаю варианты Стаса Золотцева, Ларисы Гонченко). Слава Богу, успел посидеть с Георгием Васильевичем на его дачке в Дарьино, даже и две пластинки увезти с автографами, немного писал об этом. И скоро еще, Бог даст, чего-то наговорю о нем и Гавриiline по “Культуре” (канал снимал весной прошлого года четыре передачи моих мемуарий с именем “Нечаянный портрет” — они все есть в Интернете.

Теперь вот разохотились и просят еще четыре, а я уж задыхаюсь от сердечной недостаточности, и ритор из меня плохой).

Русский человек с “видом на жительство” в России — стыд и горечь. И что-то пока не похоже, что мир собирается образумиться...

Обнимаю Вас. Ваш В. Курбатов».

5.02.2016 г.

«1.

Пока “примеряю” — включаю Свиридовский Романс и вчитываюсь в Ваш текст. Пытаюсь даже запеть, как Георгий Васильевич — страшным голосом, за которым он слышал небесные звуки Образцовой, и нет-нет звал Эльзу Густавовну, чтобы она послушала тот или иной чудный переход, да бедная Эльза Густавовна затыкала уши, чтобы не слышать этого хрипа, потому что не умела “подставить воображением” образцовские нежности.

По глубине замечательно — как это ляжет на голос?

Спасибо и за статью об Ивановском храме. Я ведь был там первым старостой и сам стеклил окна и клал с товарищами полы — каменные в притворе и деревянные в храме.

Штукатурил стены под фрески отца Андрея, образцы брали из древних синайских.

И в одной из фресок при входе, где “народ Божий”, есть и мой портрет той поры, так что я скитаться-то скитаюсь, но и не покидаю храма, в котором надеялся быть отпетым. А вот судьба поворачивается иначе.

Охо-хо... Ну пошел еще раз слушать Романс.

2.

Ваш текст — пел.

Я это, я на фреске, хотя начинал совсем не седым. Да и фреска-то эта из самых поздних — когда до притвора дело дошло. А черненький рядом со мной — Костя Обозный — спаситель памяти Псковской миссии, “сменщик” мой в Апостоле и шестопсалмии. И “девчонки” наши — из певчих.

А уж какое спасибо за Свиридова! Вот уж бонус так бонус. Я, к сожалению, слышал его, когда голос уже совсем был неполушен ему, а он-то слышал вот этот — действительно лучший,

поточнее всех образцовых. Вот уж где подлинно все до звука согласно — текст, музыка, исполнение.

Вот и буду теперь утешаться, а заодно, может, утешу и тех, кто будет снимать на “Культуре” мои мемории, если до этого дело дойдет — стал стремительно сдавать и был бы рад, если бы они отступились. Но у них “план”, и они невольники.

Пойду представлю, как бы Георгий Васильич.

Обнимаю.

Ваш бедный представитель народа Божия».

30.04.2016 г.

«Дорогой брат Станислав!

Совсем скоро — по бесконечной России в разный час — встанет иерей, владыка, патриарх перед закрытой дверью храма и воскликнет: «Да воскреснет Бог!» — и мы, войдя, не увидим Плащаницы, покрывавшей тело Спасителя. «Что ищете Живаго с мертвыми?» И подхватим Ангельскую песнь чистым сердцем. Господи, хоть бы на этот час действительно чистым, которым однажды и будет спасен мир. «И ненавидящих нас простим вся воскресением». И ненавидящих больше не будет, и мы впервые за историю и теперь уже навсегда «друг друга обьемем», чтобы сказать с полнотою веры: «Христос Воскресе!» — и поверить, что теперь навсегда Он «ад умертви блистанием божества» и смерти больше не будет.

Как просто! Как трудно! Но зачем-то нам еще даны дни жизни...

Обнимемся!

Христос Воскресе!

Ваш В. Курбатов».

17.05.2016 г.

«Дорогой брат!

На Празднике в Михайловском мне придется вести круглый стол, который я думаю посвятить вызовам, которые бросают русской культуре не “басурмане” даже, а свои ребята, глумящиеся, в особенности в театре, над русской классикой всеми возможными способами.

Называться стол будет “Моцарт и Сальери” или “Фигляр

и Алигьери», потому что «фигляры» полощут всю и самого Александра Сергеича, и Достоевского, и Толстого.

В Ленкоме в Москве блистает педофил князь Тьмышкин, грезящий о пятилетней Настасье Филипповне. В Александринке в Питере Иван Александрович Хлестаков «отдирает» на сцене дочку городничего под завистливые взгляды мамы, которая торопится поменяться с дочкой ролями. Теперь этого «добра» на полстраны. Вот и попробуем поговорить. А то они уж очень безнаказанны, и зритель думает, что и мы туда же.

Обнимаю Вас. Бог даст, до скорой встречи в Михайловском.
Ваш В. Курбатов».

9.06.2017 г.

«Не был я на Празднике, дорогой Станислав.

Начальство попросило «не лезть». А я, бедный, предлагал набить меня соломой и выставить в центре Поляны — «он был на всех пятидесяти Пушкинских праздниках поэзии». То-то была бы инсталляция. А если бы еще пришить на пузо красную кнопку, чтобы каждый мог нажать на нее, я бы мог говорить голосами Андроникова, Дудина, Смелякова и других ведущих Праздника в разные годы. И это уже был бы перформанс, и Александр Сергеич легкой походкой вошел бы в первые ряды нынешних пост-модернистов. Эх-х, не согласились.

А серьезно, предлагал позвать поэтов, родившихся в перестройку, и предпослать эпитафию из Александр Сергеича «Ужель мне скоро тридцать лет?» и следующей его строкой — «Так, полдень мой настал...»

И пусть бы эти ребята доказали, что их «полдень» настал и они готовы принять эстафету пушкинской ответственности перед русской поэзией.

Но сказали, что это очень «умно» и сузят Праздник. Как и предложенный мною «круглый стол», посвященный столетию революции — «Между одой «Вольность» и «Клеветникам России», чтобы господа поэты поняли: где они там помещаются и куда более клонятся — к «вольности» или к силе служения. Тоже сказали: нечего смущать поэтов. Вот я и не поехал впервые за пятьдесят один год.

Праздным зрителем быть не умею.

С благодарностью, Ваш В. Курбатов».

22.08.2017 г.

«Значит, сердце еще не умерло, раз мы умеем окликать друг друга, не ведая о “датах”. И у меня “депрессняк” — старик депрессняк повадился в Россию.

Сегодня вот как раз отказывался от жюри премии “Ясная Поляна”:

ВСТУПЛЕНИЕ К ОТСТУПЛЕНИЮ

Друзья мои! Преклонные лета
Зовут меня проститься с нашим кругом.
В былые дни я смел быть вашим другом,
Но пройдена заветная черта.
Ещё я тщусь увидеть и понять
И новый день, и новые законы,
Но день от дня всё явственней препоны:
Мои «фиты» и «юсы», «ер» и «ять».
Плюскамперфект на знамени моём,
Футурум цвай горит на флагах ваших.
Обнимемся и с нежностью споём
Прощальный гимн былым сиденьям нашим.
Уже и в рифме слышится порог:
Все эти «ваши-наши» — право, стыдно.
Пусть это только нам и будет видно,
Мне самому неловко — видит Бог...
Но что поделать — век неумолим.
Я новый день всё меньше понимаю,
И права за собой судить его не знаю,
И потому прощаюсь с богом с ним.
Но и простясь, я знаю, будем мы
Под небом Ясной бережно едины.
По-разному на Божий мир глядим мы,
Но в дружестве навеки сведены.
И в Михайловское отписал — Василевичу — о тоске и одино-

честве:

Тоска... Что делать нам во Пскове? Я встречаю
жену, несущую мне утром чашку чаю,
вопросами: “Что дождь? Идёт?” — “Идёт...”
О, Господи, доколе
Ты будешь нас держать
в печали и неволе?
И-и, милый мой, а что бы ты хотел?
Грешить и не страдать? Да за твои “заслуги”
тебя и вовсе надо бы связать,
чтоб не летал кузнечиком по свету,
а рос душой в тиши или служил поэту —
хоть Пушкину, который боле связан,
хоть и не Мне оковами обязан.
А ты, вишь, лишь неделю
на дождик поглядел
и уж тоской измучен.
Сиди, дурак, пиши друзьям “емелю”.
Хоть так ты будешь Мной сидению научен...

И у Вас как близко — печаль (смерть матушки — моя ушла
двадцать лет назад, а все сердце не заживает) и замужество до-
чери — матушка-жизнь все учит нас равновесию. Да ученики
мы плохие.

С любовью Ваш В. Курбатов».

28.12.2017 г.

«Получил, получил книжку, брате!

Как Виктор-то Петрович Астафьев, бывало, шутил: “Как ни бо-
лела, а померла” — как ни терялась книжка, а вот нашлась. Второй
день читаю-читаю да и переверну Ваши «Райские отсветы...», по-
гляжу на имя автора. Ведь книжка-то моя! Моя! И герои все мои.

Про всех писал (художников, поэтов — и именно про этих
и с той же любовью). Как, оказывается, можно близко видеть
мир! Спасибо! ...

А на дворе-то уж Новый год, который приходит год от года

все торопливее. Ну, куда, скажите на милость, он так спешит, не давая наглядеться на ускользящий день, и зачем так торопится переменить числительное. Уж не обновка ли это для него, по которой тоскует его ребячье сердце.

И уж вон — и Рождество Христово, сулящее нам, в отличие от Нового года, свет и бессмертие. Чуть переменим тропарь: “Воссияй миру свет разума!” Пора бы уж и правда этому разуму воссиять, а то все как дети неразумные.

С нежностью обнимаю Вас. Ваш В. Курбатов».

7.04.2018 г.

«С Благовещением, брате! И Христос Воскресе!

Как тесно, как трудно. Гроб Христов стоит еще посреди храма, а Архангел Гавриил летит над ним возвестить Марии рождение вот этого плащаницею обвитого Ее мертвого Сына. Иголку не просунешь в этой вечности. Время навсегда отменено, и старушка Смерть — без работы.

Так ей и надо!

Обнимемся. С любовью Ваш В. Курбатов».

27.04. 2019 г.

«Воскресения день, и просветимся торжеством и друг друга обьем... и ненавидящим нас простим вся воскресением...”. Авось и они нас простят и обымут. Правда, с ними, говорят, надо обниматься в бронезилетах.

Христос Воскресе, дорогой брат Станислав! Завтра-то уж избегаюсь, так вот тороплюсь сегодня похристосоваться. И эх бы найти случай обняться прям так.

Ваш В. Курбатов».

29.12.2019 г.

«Но-вы-ый го-о-д настае-от!

И опять отчего-то больше хочется ворчать, чем восклицать.

Ишь настае он, “с наступающим!” Наступает и наступает, а мы пятимся и пятимся. И еще заискиваем. А нет чтоб сказать: «Встанем как один, скажем: “Не дадим!”»

И пусть он побудет нами с нашим вечным ожиданием ка-

кой-то таинственной полноты, которая не будет подгонять нас. Ни нашей, ни его заслуги нет в его новизне.

Он просто дан — чего его поощрять-то? Как всякий очередной день.

Правда есть только во второй части восклицания: «С новым счастьем!».

Тут хоть слышна благодарность Господу за ежедневное счастье быть, за Его дар нам, дуракам.

Это после Рождества можно ликовать, что вот опять нам даровано спасение, опять нам отпущен новый год нашей возможности сделаться Господними детьми, хотя мы уже знаем, что нам опять что-то (кроме нас самих) помешает на пути устройства души.

Ладно, разумничался он тут.

Обнимемся, Станислав, и опять в труд дня, в счастье повседневной скуки и вечного беспокойства, что опять не успели того и вон того.

В счастье жить! И надеяться еще повидаться.

Ваш старый, как уходящий год, Курбатов».



Сергей Филатов

Родился в 1961 году в Омске. Окончил Алтайский политехнический институт, учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Стихи и проза публиковались в краевой, российской и зарубежной периодике, в коллективных сборниках, в различных антологиях. Автор семи поэтических книг и двух книг прозы. Живет в Бийске.

«...ОБНИМАЮ ВАС. ВАШ В. КУРБАТОВ»

Есть слова, которые, едва будучи сказанными, сразу забываются, умирают, точно и не было их вовсе. А есть — которые остаются в нашем сознании надолго, они постоянно с нами, хотя притупляясь, отходя временами куда-то на второй план, как боль, которая не прошла вовсе, но на время стала терпимой. Однако наступает момент и вспыхивает она с новой силой, и сказанное-обострившееся обретает новые оттенки, новые звучания, прорастает в нас новыми смыслами в соответствии с временем.

В начале 2000-х, работая научным сотрудником в музее Шукшина в Сростках, готовил выпуск сборника к юбилею Василия Макаровича. Много было разных материалов — земляки, родственники, друзья, писатели, кино- и литературоведы говорили о Шукшине живо и интересно: свидетельства, факты, эмоции... Но не хватало какой-то одной центральной связующей нити, какой-то зацепки, чтобы выстроить материал не просто в сборник, а в книгу. Не помню почему, но именно тогда и возникла

у меня мысль написать Валентину Яковлевичу Курбатову. Благо его электронный адрес в музее был, огорчало другое, времени для подготовки материалов оставалось совсем мало, а Курбатов, как назло, постоянно был в делах, в разъездах...

Однако природная тактичность Валентина Яковлевича и, полагаю, чувство долга — действительно, кому как не Курбатову было что сказать о Василии Макаровиче! — не позволили ему отказать. Он, помнится, выслал мне ролик телепередачи на ГТРК «Алтай» и предложил переложить запись на бумагу, чтобы использовать ее для этого сборника.

Бывает, что познакомишься с человеком заочно, вроде по делу списался, но его манера общения — внимательная, интеллигентная, тактичная и одновременно твердая, последовательная в суждениях — притягивает, располагает к себе. И деловая переписка как-то сама собой незаметно прирастает личностными моментами, эмоциями, желанием узнать мнение оппонента, и чем дальше, тем больше и больше усиливается это притяжение личности, а потом общение и вовсе в необходимость перерастает. Особенно когда собеседник — человек не просто интересный, но и интересующийся, сопричастный теме вашего разговора:

«Дорогой Сергей! Не ответил Вам, хотя получил и фотографии, и короткий рассказ о Шукшинских торжествах. Не очень здоров из-за жары и редко подхожу к компьютеру. Были ли настоящие открытия? Как когда-то речь Валентина Григорьевича на Пикете, как первый приезд Федосеевой, когда она встала на колени и попросила прощения у земляков Василия Макаровича. И, конечно, была немедленно со слезами прощена. Или пикеты против Катунской ГЭС. Каждый раз это было кипение, жадное дело, надежда завтра перевернуть мир и «доложить Макарычу». Обнимаю Вас. Ваш В. Курбатов».

Человек этот вдруг становится для тебя настолько родным и понятным, что испытываешь непреодолимую потребность встретиться с ним воочию, поговорить глаза в глаза, может быть, посоветоваться, потому что «сказанному больше доверия, чем писанному».

«Спасибо, дорогой Сергей, получил и книгу, и ваш буклет о Сросткинском храме. И душа запросилась в Сростки, хоть

бросай все и беги. Но уже, похоже, мне их не видывать и в храме этом не маливаться... Ваш В. Курбатов».

И как это зачастую бывает, как-то все откладываешь эту встречу на потом, «на сладкое»: то собеседник по всей стране из конца в конец ездит по литературным форумам, то тебе непременно нужно закончить сразу несколько дел, и никуда не вырваться... А времени впереди — вагон! И все думаешь, ладно, успею еще, успею...

«Простите, Сергей, что не получилось ответить Вам вовремя. Сначала тяжелая поездка в Екатеринбург, потом театральный фестиваль у нас в Пскове, где мне надо не только умничать, но и принимать участие в театральной лаборатории, то есть смотреть много разного вздору и потом стараться не сорваться на «материальные выражения» при обсуждении. Только вчера все это закончилось, гости поехали в Михайловское, а я уж не смог... Ваш В. Курбатов».

Не смог тогда приехать Валентин Яковлевич и на Шукшинские: «Нет, дорогой Сергей! В Сростки мне уже не доехать, как ни просится душа. И даже не от немощи, а просто надо будет обязательно ехать в Иркутск в начале июня, а на две поездки такого размаха меня никак не хватит. Да и не только это. Я милолетно пытался сказать Вам по телефону, да не слышно было... Нужны на Празднике новые силы, та молодая литература, которая сменила Василия Макарыча в жесткости и точном взгляде. Нужны те, кто сегодня стал реальной рабочей силой литературы, ее действенной повседневностью. А приедем мы с Валерием Николаевичем Ганичевым — чего от нас ждать, кроме дежурной риторики и нравственных прописей, которых уже никто не хочет слушать. Обнимаю Вас. Ваш В. Курбатов».

Но все-таки беспокоился Валентин Яковлевич, душа, видимо, не на месте была, спрашивал с тревогой и с надеждой:

«А уж мне как жаль, Сережа, что я не смог быть в Сростках. Но так все тесно сошлось, что никак было не выбраться. А как было-то? Кто приезжал? Я-то еще и потому отказался, что боюсь не найти необходимой интонации и единства с остальными писателями. Так мы все далеко разошлись, что, боюсь, уж прежнего согласия не дожждаться. А порознь перед Василием Макарычем неудобно. Не для того он нас собирает, чтобы мы в разные

стороны тянули или отделялись дежурными выступлениями. Обнимаю Вас. Ваш В. Курбатов».

...Теперь, спустя много лет, когда нет Валентина Яковлевича там — на другом конце интернета, только жалеть остается, что встретиться с ним вживую уже не представится возможным. Разве что там... И перечитываешь, перечитываешь письма...

Вот в одном из них, которое Валентин Яковлевич написал мне после прочтения сделанного варианта «расшифровки» его выступления:

«Спасибо, Сергей, за терпеливую работу. Я знаю, как противно переводить устное слово в письменное. Кое-что я тут поправил, потому что это разные жанры, но основу старался держать, чтобы человек слышавший не видел, что это два совершенно разных текста. Пусть это так и будет «расшифровкой» записи телепередачи. Почему-то кажется, что сказанному тексту больше доверия, чем писанному. Ваш В. Курбатов»

При этом он полностью согласился с небольшим вступлением, написанным мной тогда к этой публикации:

«Спасибо, Сергей, — вступление хорошее. Предчувствую, что и номер выйдет на славу. Очень надеюсь, что и выступления в этом году на Пикете будут впервые за последние годы достойны Василия Макаровича. И мы действительно задумаемся — «что С НАМИ происходит?» Вот уж подлинно, когда пришла пора кричать вместе с его Степаном: «Выбейте мне очи, чтобы мне не видеть вашего позора!» Кажется, мы уже дошли до самой последней ступени, до самого дна равнодушия друг к другу, к Отечеству. Принеси сегодня мальчик Пушкин в «Знамя» или «Октябрь» стихотворение «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!», ведь его прогонят с порога: «Мальчик, ты откуда? Не из Советского Союза? Какие порывы? Какая Отчизна? О чем ты?» Ладно, простите, а то и Вас расстрою, и сам заведу. Ваш В. Курбатов».

Резко?.. Может быть. Так же, как излишне резкими видятся мне сейчас и свои слова, написанные в том вступлении. А может быть, и нет? Может быть, так и надо:

«Алтай, Бийск, Сростки, Шукшинские чтения... — для многих сегодня в России это звучания одного ряда. Имя Василия Макаровича неразрывно связано с Алтаем.

Но, задумываемся ли мы сегодня, произнося его всуе, по Шукшину ли живем, по правде ли? Иногда высказывают мнение, что и сами чтения в последнее время обофициозились, отошли от шукшинского «нравственность есть правда». Действительно, нравственно ли входить в горницу, не вытерев сапог, или в храм, не снимая головного убора?

Но мы едем на шукшинскую Гору поклониться Шукшину, на автобусах, на джипах, на вертолетах прилетаем, не слишком задумываясь при этом, что даже Гора не в силах все стерпеть и вынести... Что все разумение шукшинской правды, кроме прочего, еще главных — духовных усилий нам стоять должно. Но мы говорим об этом, как о чем-то привычном, обыденном — и это о шукшинской правде! — говорим порой, не очень-то задумываясь, в контексте сегодняшней адаптированной «правды» — лжи, говорим, как нам удобно это слышать...

Люди дорогие, а почему бы не подняться на Пикет пешком, не присесть на траву, подобно Василию Макаровичу, и, задумавшись об этом, не помолчать вместе с ним...

Не об этом ли еще в 2002 году говорил Валентин Курбатов, не это ли мы, по обыкновению своему, не услышали? Но говоренное им, Курбатовым, а прежде него Шукшиным, сегодня как-то обострилось, стало большее еще и явственнее, уродливее, точно внутренняя опухоль вдруг обнажилась и вылезла во всем своем «величии» наружу, и вот-вот лопнет... Авось, очистится. И мы вместе с ней».

Ведь перечитываешь сегодня и письма Курбатова, и свои слова — и понимаешь, боль, она не прошла, стала еще большее, еще ощутимее, и так же по-прежнему слушаем мы, но не слышим друг друга, и расходимся в гордыни своей все дальше и дальше друг от друга — ибо расколотое уже не склеить. И оттого слова те курбатовские из телепередачи, точно о сегодняшнем времени говоренные, так нами и не услышаны до сих пор.

Иногда, правда, одерну себя, вот сейчас бы у Курбатова спросить, что он думает — увы, не спросишь, — а не нагнетаю ли я, не накручиваю сам себя?..

Интересно, что бы он ответил?

Валентин Курбатов

Родился в 1939 году в поселке Старый Салаван Ульяновской области. Окончил факультет киноведения ВГИКа. Критик, литературовед, автор нескольких книг. Постоянный автор многих литературных журналов России. Член Союза писателей России и Президентского Совета по культуре. Умер 6 марта 2021 года.



С ГОРЫ ПИКЕТ

Выступление на ГТРК Алтай в передаче
«По улице Шукшина». 2002 год

Я думаю, разговор у нас будет сложный, может быть, сбивчивый. Потому что говорить о Василии Макаровиче, идти сегодня по улице Василия Макаровича, по которой мы ходим все реже и реже, — и всегда было трудно, а теперь и того труднее. Трудно, потому что что-то не складывается в нашей жизни. Не зря же он спрашивал в своей «Кляузе», в самом, наверное, мучительном своем рассказе: «Что с нами происходит?», а мы постарались перемолчать этот вопрос.

Только вопрос этот нашим молчанием не отменен и остается таким же болезненным, таким же насущным и таким же важным, если не болезненнее прежнего. Не ответили тогда, а теперь уж и привыкли не отвечать на решительные вопросы, которые задавал Василий Макарович, задавала русская литература.

Так случилось, что после кончины Василия Макаровича, все, кого он словно держал своим напряжением, своим живым пламенем, вдруг разошлись — так сложилась история Отечества нашего, побежали мы в разные стороны. И литература, как дитя этого общества, — тоже побежала.

Еще несколько лет назад я надумал «обмануть» барнаульское начальство и уговаривал Владимира Мефодьевича Башунова, чтобы он попробовал послать письма с приглашением на Шукшинские чтения в Сrostки исподволь разошедшимся русским писателям. Послать Валентину Григорьевичу Распутину, написав, что именно он, Валентин Григорьевич, особенно нужен здесь, что Василий Макарович зовет его. Послать Василию Ивановичу Белову с тем же обращением... И послать Виктору Петровичу, что тебя, де, Виктор Петрович, ждет Василий Макарович. Каждому — его, мол, одного. А не всех сразу. Они к тому времени далеко разошлись — Виктор Петрович, Валентин Григорьевич и Василий Иванович...

Никто из них не приехал. Хитрость моя не удалась. А я думал, что вот сойдутся они «нечаянно», поднимутся на сrostкинскую гору, на эстраду перед Василием Макаровичем, и он будет сидеть у них за спиной и глядеть одобрительно и радоваться друзьям. И почему-то мне казалось, что все, сколько ни соберется на тот час народу, — пять, десять, пятнадцать тысяч... — непременно встали бы при появлении этих людей. И, может быть, даже заплакали. По-детски рисовалось, что если три еще самых любимых тогда русских писателя выйдут вместе, встанут рядом, как в лучшие годы, то с уже порядком расшатанным о ту пору русским сознанием произойдет что-то очень важное. Все увидят, что мы побегали, поозоровали, побездельничали и теперь можно снова вернуться под взгляд Василия Макаровича, на эту его улицу. И опять идти всем вместе в единстве, в настоящей живой полноте.

Не вышло. Виктор Петрович мне выговорил, что довольно, де, этих хитростей, что не сядет он уже за один стол с Василием Ивановичем Беловым, потому что по тысяче причин они друг другу не поверят... И это было не просто болезненно, это было страшно слушать. Было еще время собраться. Было и ушло. И вот нет уже и Виктора Петровича, Царствие Небесное... Нет Василия Макаровича... И собираться русской литературе все труднее.

Да ведь и самого Василия Макаровича, к сожалению, уже и литераторы читают не так часто, как хотелось бы. Не читают, потому что совестятся, потому что неловко им перед Шукшиным. Откройте-ка сейчас Василия Макаровича, возьмите что у вас есть (а ведь непременно есть — какая личная библиотека без Шукшина?), откройте на любом рассказе. Потом вас не оторвешь, будете читать раз, другой, третий... и вдруг с горечью почувствуете, что находитесь в середине прекрасного, на глазах уходящего, да уж почти и ушедшего народа. Ведь и правда нет уже ни изобретателя вечного двигателя, ни Мони Квасова, ни дяди Ермолая, ни героя «Сапожек», ни героя «Обиды» — нет тех, кто так болезненно и мучительно реагировали на жизнь, тех, кто еще понимали, что нравственный закон ненарушим и отстаивали его. Но видимо, с нравственным законом все-таки что-то произошло. Он оказался не просто нарушен, а как-то нарочито, с прямым вызовом «отправлен в отставку», чтобы не мешал «по своей воле пожить». И потому нам легче спрятать глаза от Василия Макаровича, чем читать его, а значит, и жить по совести.

И раньше уже поговаривали, что Василий Макарович, может быть, не самый лучший писатель. Потому что какой же там сюжет? Он никогда его не строит, начинает без всяких предисловий: баня слева, изба справа, бац! — и сразу в самую середину схватки, ни тебе пейзажа, ни положенного вступления. Да и какой актер Василий Макарович? Он не перевоплощается в своих героев. Везде это Василий Макарович, кем бы он ни был, в «Они сражались за родину» ли, в «Печках-лавочках» — всегда один и тот же, со своей горячностью и болью. И какой он режиссер, когда все у него сбивается, когда он хочет сказать и это, и вот это, и вон то... Может быть, действительно, порознь он не был бы ни режиссером в высочайшем, профессиональном смысле, ни актером, ни писателем. Но зато он был тем, кем не был, наверное, никто в ту пору — он был «профессиональным человеком».

А это, может быть, самое дорогое, редкое, на глазах теряемое в людях качество. Помните, странную похвалу Гамлета своему отцу, когда друзья с благодарностью вспоминают: «Он был король». «Он человек был, — бережно поправляет Гамлет, — в полном смысле слова...» Нашел лучшую высшую характеристику —

«человек в полном смысле слова». Понимал принц, что это во все времена не часто.

Так вот, Василий Макарович приходил к нам, чтобы сказать, каким был задуман Богом русский человек во всем его многообразии. Он не стеснялся быть дураком, вертопрахом, не стеснялся быть праведником, страдальцем... Он был всем, и все помещалось в нем с живой естественностью. Почему он и торопился писать, почему ему скучны были романы, почему скучен был сюжет. Не в этом было дело, надо было успеть выговорить человечеству главное, высказать всего русского человека во всем его многоцветном существовании и проститься с ним. Он уже слышал этот уход и кричал о нем. Поэтому так его и слушали и поэтому так сходились на фильмы Василия Макаровича, сходились над его книгами — чувствовали эту любящую горячность, живое подступающее прощание и тоже вместе с ним торопились наглядеться.

Сегодня, к сожалению, эта живая искренность и любовь встречаются все реже. Русская литература стала по внешности богаче. Сегодня всякий — Набоков, всякий сумеет выстроить на сцене эффектное зрелище, написать замечательно умное и отлично построенное сочинение. Диву дашься: где они были прежде, эти замечательные писатели? Но при всей их замечательности ты вдруг чувствуешь в пестром море литературы, что красива-то она красива, но как-то не питательна. Почвы в ней не осталось. В старинном славянофильском, в каком угодно смысле — почвы, как живой коренной земли. Вы чувствуете, что броские и успешные писатели, как и их яркие герои, — больше дети книжных собраний, чем жизни. Они все словно так и родились в библиотеке, в книжных шкафах, на книжных полках и так из библиотеки и являются к нам, зажигаясь каждый от своей прочитанной книжки, а не от того, что было собственно землею, не от того, что было народной кровью.

Помню, когда мы прощались с Астафьевым, многие говорили, что мы простились не просто с одним из лучших писателей, но с последним, кто был настоящей, земной, почвенной силой. На самом деле, конечно, не один Виктор Петрович был этой почвенной силой. Были и Абрамов с Носовым, был и есть Василий

Иванович Белов, и сейчас хранящий эту мощную закваску, земную свою кровную связь. Был и остается Валентин Григорьевич Распутин, как русская мысль в высочайшем ее напряжении. И оттого особенно горько, что мы каждый день предаем эту живую связь, не слышим ее, не гордимся ею и, кажется, уже и не стоим своей великой русской мысли и литературы, которая была светом нашего сердца и крепила нашу землю. Ушла она, поступились мы ею, и земля тоже пошла сыпаться и терять границы.

Не зря, я думаю, Василий Макарович так хотел не сказать даже, а прокричать устами своего Стеньки: «Я пришел дать вам волю». Это не Стенька — это Василий Макарович пришел дать нам волю, волю всему лучшему, всему совершенному, всему прекрасному, что было в русском человеке. Но мы уже не готовы были принять эту волю. Слишком расточительно, слишком хаотично было движение времени, и слишком поспешно мы устремились туда, где полегче, где не надо напрягаться, где не надо жить страшной интенсивной жизнью, какой жил Василий Макарович. Он уже видел подступающее беспамятство, кожей чувствовал нашу готовность уступить лучшее в себе для пустяков потребления и стенькиными же устами с гневом кричал: «Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора!»

Временами думаешь, Господи, так бы и повторил следом за ним, глядя на все, что происходит с нами сегодня: «Выбейте нам очи, чтобы не видели позора, который происходит с русским словом и русской литературой».

Это тяжело слышать, но он сказал это с полным и решительным правом. Я думаю, он и ушел, потому что не мог не уйти. Не мог бы он существовать в сегодняшнем цветистом, лакированном, порочном, насквозь исторговавшемся мире. Не было ему на этом базаре места с его горячностью, с его желанием правды немедленно, как всякий раз желает ее русский человек. И поэтому Господь забрал его по милосердию своему, чтоб не мучился Василий Макарович здесь, и улетел он мгновенно, так, что таблетка валидола не успела рассосаться под языком.

Но все-таки куда мы денемся от себя, от своей вековечной надежды? И вот оглядываешься на сегодняшнюю словесность с подавленностью и сомнением, а все-таки думаешь, что она побеждает,

побегаёт, а деться никуда не сможет. Что все равно вернется она на улицу Василия Макаровича Шукшина. Вынуждена будет вернуться, потому что иначе нельзя. Нельзя Василия Макаровича сделать преданием, нельзя превратить Шукшинские чтения в академические. Слава Богу, пока они в такие и не превращаются.

Я думаю, по постепенно крепнущему напряжению интонации последних сrostкинских Шукшинских чтений, что она непременно вернется — мощная, необходимая нашему самосознанию сила. Да и куда мы, в самом деле, денемся от своего Божественного назначения, которое он нам выговорил?

Когда-то я начал свою статью о Шукшине в журнале «Алтай» с того, что увидел однажды том рассказов Василия Макаровича, который в сереньком, как рабочая фуфайка, переплете лежал в книжном магазине среди развязных — чуть не сказал развратных — обложек любовных и детективных романов. И сразу представил, что Василий Макарович не выдерживает этого омерзительного соседства. И ночью как даст этим своим соседям — одному, второму, третьему, — так что от них только цветная пыль! И к утру эти нарядные книжки с цветными обложками непременно, к удивлению продавцов, валяются на полу. А Василий Макарович один на прилавке лежит в своей фуфаечке, и улыбка его зла и решительна. И приходится продавцам с утра собирать его противников и опять пытаться задавить Василия Макаровича. И сегодня, кажется, задавили-таки. Потому что сегодня это торжествующее нарядное гламурное войско, в котором не отличишь подлеца от порядочного человека, побеждает и пирует. Да недолго, думаю, не всегда будет побеждать и пировать, потому что русский человек никуда не спрячется от вопросов, заданных Василием Макаровичем.

Мне очень жалко, что не удалось тогда собрать великих русских литераторов на горе Пикет. Теперь сюда будут приходиться другие, в том числе и те самые, кто умеют написать любой текст с набоковским мастерством. Но так хочется надеяться, что они придут не для кокетства своим пустым техническим искусством, а, оглянувшись из этой поднебесной высоты, вслушаются в эту землю, взглянутся в вечную милую Катунь, в движение облаков. И что-то поймут. Поймут, почему Василий Макарович сидит

в финале своих «Печек-лавочек» на этой высоте над родным селом и смотрит, смотрит с горы на несчастную, ненаглядную свою Россию.

И однажды, глядишь, и мы сойдемся там с той же болью в сердце и в молчании проведем свои лучшие чтения. Никто не будет сидеть на эстраде, никто не будет внимать «божественному» глаголу литераторов. Они сами сядут вместе с Василием Макаровичем, со всеми, кто соберется в этот час, и поглядят на Россию, которая видна отсюда вся во всей своей святой, мучительной, грешной, родной бесконечности. И поймут, сколь горько виноваты перед ней, и сколь по-прежнему целительно для сердца смотреть с этой горы в глаза России. А она все терпеливо ждет от нас ответа на свои главные и существенные вопросы, на так и не отвеченный вопрос Василия Макаровича: что с нами происходит?

И, глядишь, если не будем вилять (чему мы очень выучились), мы и вернемся однажды по «улице Шукшина» в свое благословенное, забытое нами, опозоренное нашей нечистотой и суетою, но никуда не девшееся и по-прежнему матерински ожидающее нас Отечество. А оно все смотрит на нас, и с этой горы взгляд этот особенно требователен. И все напоминает нам, чтобы мы не роняли достоинства и были тем, чем мы были задуманы и что нам было явлено в Василии Макаровиче Шукшине так высоко и ясно — русским человеком в его великом, сущностном, на роду нам написанном необходимом миру смысле.



Дмитрий Марьин

Родился в 1976 году в Барнауле. Окончил факультет филологии и журналистики Алтайского государственного университета. Доктор филологических наук, профессор. Автор более 150 научных работ, в т. ч. 4 монографий. Публиковался в журналах «Литературная учеба», «Сибирские огни», «Алтай», «День и ночь», «Огни Кузбасса», «Бийский вестник», «Культура Алтайского края». Живет в Барнауле.

НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ

Истинный и ложный дар в творчестве В.М. Шукшина

Мотивика и символика дара/подарка являются одними из самых древних в мировой культуре. Обычно подарок воспринимается и в сфере бытовых отношений, и на языковом уровне как дар бескорыстный. В словаре В.И. Даля «дарить» — это отдавать навсегда безвозмездно, отдать даром, приносить в дар, дать подарок¹. Но в социальной антропологии, аксиологии хорошо известен и такой феномен как *дар ложный*. Известный французский антрополог

¹ Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 1. М.: ТЕРРА, 1995. С. 415.

и социолог Марсель Мосс утверждает, что фактически ложный дар широко распространен уже в архаических обществах, где дар внешне добровольный, свободный и безвозмездный в то же время носит характер принудительного и небескорыстного². Жак Деррида указывал, что подлинный дар должен быть воистину «даровым» и не ставить никаких условий, не налагать долговых обязательств для одаряемого. Подарки в обычном понимании, т. е. «бескорыстные», согласно Деррида, — дурные, нездоровые³. Для Деррида такой дар — яд. Согласно учению французского философа, «всегда существует возможность контаминации дара <...> двойником, фантомом или симулякром»⁴, иначе — *ложным даром*.

Дарение в отечественном литературоведении часто рассматривается в аспекте трансформации фольклорных мотивов в авторском тексте и в качестве мотива традиционной культуры. Еще Владимир Пропп отметил, что в русской волшебной сказке даритель, от которого герой получает волшебное средство, испытывает и даже искушает героя. Нередко дар предполагает в ответ от героя оказание услуги или становится результатом обмена⁵.

А вот для отечественной литературы эпохи соцреализма как раз характерно дарение безответное, бескорыстное. Тоталитаризм — дарение без ответа, без взаимности адресата и адресанта. «Тоталитарная литература прославляет тех, кто отдает, ничего не требуя взамен»⁶. Советская литература и культура сталинской эпохи последовательно реализуют данный принцип⁷.

² Мосс М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М.: Изд-во «Восточная литература», 1996. С. 83.

³ Цит по: Маккарти Т. Тинтин и тайна литературы. М.: ООО «Ад маргинем пресс», 2013. С. 111-112.

⁴ Жак Деррида в Москве / сост. М. К. Рыклин. М.: РИК «Культура», 1993. С. 172-173.

⁵ Пропп В. Морфология сказки. Л.: ACADEMIA, 1928. С. 51, 93.

⁶ Смирнов И. П. Человек человеку — философ. СПб.: Алетейя, 1999. С. 66.

⁷ Куляпин А. И., Скубач О. А. Мифология советской повседневности в литературе и культуре сталинской эпохи. М.: Языки славянской культуры, 2013. С. 208-216.

А как мотивика и символика дара реализуются в творчестве Василия Шукшина? Вопрос вовсе не праздный и не такой уж узкоспециальный. Семиотика дара, конечно, напрямую затрагивает систему ценностей художественного мира Шукшина, что архиважно для его изучения и интерпретации. Кстати, не только художественного мира, если мы обратимся к документальным шукшинским текстам — письмам, рабочим записям, автографам (дарственным надписям) и т. п. Здесь уже мы проникаем в духовный и ценностный мир самого писателя и кинорежиссера. Напомним, что Шукшин вошел в большую литературу на рубеже 1950-60-х гг., когда еще недавно незыблемые клише соцреализма оказались подмочены каплей новых приемов поэтики литературы хрущевской оттепели. Поэтому в творчестве и биографии Василия Шукшина, словно на спиле ствола одного из гигантов леса отечественной литературы, отчетливо видны все пертурбации культуры послевоенного периода. Нельзя не учитывать и момент эвристики: тема дара у Шукшина изучена мало. Например, среди 48 мотивов и символов, отмеченных в соответствующем разделе трехтомного энциклопедического словаря-справочника «Творчество В. М. Шукшина» не нашлось места мотивам и символам, имеющим отношение к дарению и дару⁸.

А ведь связанные с дарением и подарком эпизоды неоднократно встречаются как в текстах художественной прозы, так и в художественном наследии (автографах — дарственных надписях) В. М. Шукшина. Более того, дарение и подарок в творчестве писателя приобретают оригинальную символику ложного дара, устойчиво повторяемую в целом ряде произведений. Отметим особо, что мотив дарения у Шукшина сложен и многоаспектен, и ложный дар — это лишь один из вариантов презентации семантики мотива дара в творчестве писателя. В то же время приводимые нами примеры на материале литературных произведений

⁸ Творчество В. М. Шукшина: энциклопедический словарь-справочник. Т. 2: Эстетика и поэтика прозы В. М. Шукшина. Мотивы и символы творчества В. М. Шукшина. Диалог культур / Науч. ред. А. А. Чувакин; Ред.-сост. О. Г. Левашова. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. С. 61-141.

Шукшина и его нехудожественных текстов вполне убедительны и свидетельствуют о повторяемости и даже определенной частотности мотива ложного дара.

Лучше всего для понимания ложного дара Шукшиным подходят нехудожественные тексты писателя — автографы: разного рода надписи *ad hoc*, дарственные и памятные — на книгах, фотография и т. д. — т. е. тексты, непосредственно сопровождающие акт дарения и становящиеся частью самого дара, подарка.

Сразу несколько дарственных надписей В. М. Шукшина, которые он оставил на книгах (своих и других авторов) и фотографиях, содержат мотив ложного дара. Если следовать концепции Деррида, то автограф как дарственная надпись — это заведомо ложный дар, т. к. он всегда обнаруживает себя как дар. Этот мотив часто усиливается в тексте шукшинского автографа указанием на цель надписи или использованием императива: «Братке Ване на память. И на пользу. Янв<арь> 1970 г. Москва. В. Шукшин»; «Брату Саше Буркину и жене его Наде — от автора. Брат, хочется, чтоб судьба твоя была немного полегче. Март, 1971 г. Москва. В. Шукшин. Прочитай рас-<ска>з «В профиль и анфас»», «Саше — на память (1954-1971 гг.). Москва. В. Шукшин»⁹ и т. п.

В некоторых текстах автографов Шукшиным сознательно или несознательно допущены искажения истины. Такие дарственные надписи ложны в прямом смысле. Например: «Константину Александровичу Чижикову на добрую память. Пока своих книг не написал, а Вернадский умный русский мужик — читайте»¹⁰. Этот автограф, оставленный Шукшиным на книге В. И. Вернадского 23 апреля 1967 г. после встречи с читателями в городской библиотеке Бийска, содержит очевидную неправду. Ведь к 1967 г. были опубликованы уже три книги В. М. Шукшина¹¹.

⁹ Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. / под общ. ред. Д. В. Марьина. Барнаул: ООО «Издательский Дом «Барнаул», 2014. Т. 9. С. 84-85.

¹⁰ Там же. С. 83.

¹¹ 1) Шукшин В. М. Сельские жители: Рассказы. — М.: Молодая гвардия, 1963; 2) Шукшин В. М. Живет такой парень. — М.: Искусство, 1964; 3) Шукшин В. М. Любавины: Роман. — М.: Сов. писатель, 1965.

В чем причина подобного ложного утверждения? Возможно, это ирония по отношению к своему писательскому труду. Ведь в 1974 г., за два месяца до смерти, писатель все еще оставался недоволен результатами своей профессиональной деятельности: «Ну, какой результат! За 15 лет работы несколько книжечек куцых, по 8-9 листов — это не работа профессионала-писателя. 15 лет — это почти вся жизнь писательская. Надо только вдуматься в это! Я серьезно говорю, что мало сделано. Слишком мало!»¹².

В еще одном автографе ошибка допущена, скорее всего, неосознанно, тем не менее, она очень символична: «Татьяне Гуммер, старой знакомой (заочно, через папу), — на добрую память и с добрыми пожеланиями. 5 июня <19>74 г. Хутор Мелоклетский (на Дону). Фильм “Они сражались за Родину”¹³. Хутор, где происходили съемки кинокартины, напомним, назывался «Мелологовский». Такая неосознанная ошибка может быть свидетельством отношения к получателю автографа, указанием на отсутствие искреннего желания автора поделиться дарственной надписью.

В художественной прозе В. М. Шукшина подарок очень часто — это мнимый, ложный, пустой дар. Обратимся прежде всего к тем рассказам Шукшина, в которых присутствуют дарственные надписи. И здесь характерная семиотика дарственной надписи сохраняется. В одном из ранних рассказов «Экзамен» (1962) приводится дарственная надпись на книге — издании «Слова о полку Игореве»: «Учись, солдат. Это тоже нелегкое дело. Проф. Григорьев»¹⁴. Сам акт дарения книги и дарственная надпись на ней венчают рассказ и являются одной из ключевых его сцен. Но роль автографа выходит за рамки только сюжетного хода. «В рассказе двойниками являются все: и автор «Слова о полку Игореве», и Лермонтов, и профессор, и студент», — утверждает А. И. Куляпин¹⁵. Действительно,

¹² Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. / под общ. ред. Д. В. Марьина. Барнаул: ООО «Издательский Дом «Барнаул», 2014. Т. 8. С. 211.

¹³ Там же. Т. 9. С. 86.

¹⁴ Там же. Т. 1. С. 95.

¹⁵ Куляпин А. И. Творческая эволюция В. М. Шукшина: монография. Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2012. С. 130.

на параллелизм биографий студента-заочника и легендарного князя Игоря недвусмысленно указывает сам Шукшин, одновременно соотнося студента и с автором «Слова»: «— Как чувствовал себя в плену князь Игорь?! — почти закричал профессор, опять испытывая прилив злости. — Как чувствует себя человек в плену? Неужели даже этого не понимаете?!

Студент, стоя некоторое время, непонятно смотрел на старика ясными серыми глазами.

— Понимаю, — сказал он.

— Так. Что понимаете?

— Я сам в плену был.

— Так... То есть как в плену были? Где?

— У немцев.

— Вы воевали?

— Да.

Профессор внимательно посмотрел на студента, и опять ему почему-то подумалось, что автор «Слова» был юноша с голубыми глазами. Злой и твердый¹⁶.

В таком смысловом контексте, на первый взгляд, подарок профессора Григорьева — книга с автографом — является бессмысленным, пустым, ложным: он дарит экземпляр «Слова о полку Игореве» двойнику автора произведения, лично пережившему многие коллизии древнего памятника в реальной жизни. Кажется, что дарственная надпись в рассказе выступает пустой, голой фразой, штампом, чей несколько возвышенный стиль дисгармонирует с реальной ценностью дара. Да и ожидания студента относительно подарка обмануты: «Студент вышел из аудитории. Вытер вспотевший лоб. Некоторое время стоял, глядя в пустой коридор. Зачетку держал в руке — боялся посмотреть в нее, боялся, что там стоит “хорошо” или, что еще тяжелее, — “отлично”. Ему было стыдно.

«Хоть бы “удовлетворительно”, и то хватит», — думал он.

Оглянулся на дверь аудитории, быстро раскрыл зачетку...

¹⁶ Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. / под общ. ред. Д. В. Марьина. Барнаул: ООО «Издательский Дом «Барнаул», 2014. Т. 1. С. 91.

некоторое время тупо смотрел в нее. Потом еще раз оглянулся на дверь аудитории, тихо засмеялся и пошел. В зачетке стояло: «плохо»¹⁷.

Однако в ранней прозе писателя ложность дара пока не является однозначной. Для сравнения: в позднем рассказе «Ночью в бойлерной» (1974) уже другой профессор — Аркадий Михалыч — готов продать рукопись «Слова» ради покупки норковой шубы для молодой жены: «Любую! — вскричал пьяненький профессор в величайшем горе. — Самую древнюю рукопись!.. «Слово о полку Игореве», если бы имел, — отдал бы, только бы не эта истерика, не этот визг. Все бы отдал!»¹⁸. Вновь автор поднимает тему подарка (норковая шуба для молодой жены профессора), и вновь в контексте этой темы встает «Слово» как эквивалент той цены, которую готов заплатить герой за подарок. Продажа «Слова» в этом рассказе сопоставляется с продажей души черту, а «Слово о полку Игореве», таким образом, для Шукшина становится одной из величайших духовных ценностей.

Обращение к рассказу 1974 года позволяет нам интерпретировать его финал следующим образом. Профессор Григорьев дарит студенту-заочнику не просто книгу, а вещь чрезвычайно дорогую для него и в то же время ценнейший памятник русской духовности. Последнее обстоятельство оставляет надежду, что студент все же прочтет «Слово», осознает его величие и роль в русской культуре.

Еще один интересный и символически емкий пример дарственной надписи встречается в рассказе «Капроновая елочка» (1966), где мотив дарения подвергается еще большей инфернализации. Сюжет этого шукшинского рассказа, напомним, достаточно незамысловат: три спутника, два деревенских и один городской ухажер, напрасно прождав на дороге попутную машину, в ночь под Новый год идут пешком в деревню Буланово. Вдруг начинается метель. Они сбиваются с пути, попадая

¹⁷ Шукшин В.М. Собрание сочинений: в 9 т. / под общ. ред. Д.В. Марьина. Барнаул: ООО «Издательский Дом «Барнаул», 2014. Т. 1. С. 94-95.

¹⁸ Там же. Т. 7. С. 98.

в зверосовхоз «Маяк». Утро герои встречают в избе незнакомого хозяина. Городской ухажер, которому автор придает inferнальные черты, напуганный угрозами деревенских парней, исчезает. Герои возвращаются в деревню, идут к вдове Нюрке, чтобы разобраться с ухажером. Но Нюрка одна, ухажер не явился для встречи Нового года. Так все персонажи рассказа остаются без праздника. «Капроновая елочка» — демифологизирующий вариант текста жанра рождественского рассказа (неслучайно произведение имело первоначальное название «В ночь под Новый год»).

Внимание на себя обращает один из эпизодов рассказа. Ночью в избе, в одном из карманов снабженца вместо двух бутылок водки Павел находит «какой-то странный колючий предмет». «Павел вытащил его, зажег спичку — то была маленькая капроновая елочка, увешанная крошечными игрушечками. Елочка была мокрая и изрядно помятая у основания. У крестовинки прикреплена бумажка, и на ней написано печатными буквами: “Нюсе, моей голубушке. От Мити”»¹⁹.

Капроновая елочка — подарок городского ухажера Нюре Чаловой. В рассказе, таким образом, актуализируется мотив рождественского подарка — один из старейших в мировой литературе и культуре. Но мотив дарения осложняется символами эрзаца, заменителя. Искусственная елочка — это эрзац рождественской ели. Отношения городского ухажера и Нюрки — эрзац семьи. Прикрепленная к елочке бумажка с дарственной надписью, без сомнения, — эрзац полноценного общения. Эффективность подобной коммуникации тут же нивелируется автором. Характерно, что записка утром исчезает вместе со снабженцем. Однако содержание дарственной надписи все же доходит до адресата — Нюрки, но с чужих слов и в искаженном виде. «От голубчика Мити» — так Павел проверяет текст надписи в разговоре с Нюрой. В этом шукшинском рассказе автограф (как дарственная надпись) — текст, который выполняет функцию эрзац-общения и, более того, подвергается искажению.

¹⁹ Там же. Т. 3. С. 50.

В жизни самого Шукшина также не раз случались моменты, когда косвенное общение посредством автографа заменяло общение непосредственное, живое. В 1950-е гг. — это общение с матерью и сестрой, а затем и с первой женой, М. И. Шумской, в 1970-е гг. — со старшей дочерью Екатериной.

Семейный союз В. М. Шукшина и М. И. Шумской, как известно, не был удачным. По сути, еще до официального создания (16 августа 1956 г.) судьба его была предрешена: семья нуклеарного типа не приемлет территориального разделения. Шукшин, в то время студент ВГИКа, не собирался возвращаться на малую родину, в Сростки, а Шумская не приняла учебы мужа в Москве. Видимость брака — не что иное, как эрзац-семья, поддерживалась будущим писателем вплоть до начала 1960-х гг. Известные исследователям шукшинские дарственные надписи на photographиях, адресованных невесте, а потом и жене, периода 1954-1960 гг. малоинформативны и, более того, часто представляют собой цитаты, чужой текст: «“Я помню чудное мгновенье”. В. Шукшин»; «Что делать? Жениться или не жениться? Москва, Сокольнический переулок, 1954 г.»; «Скучища <зеленая>²⁰, а жить надо! В. Шукшин, 1960»²¹.

В начале 1970-х гг. коммуникация посредством писем и автографов характерна для отношений В. М. Шукшина со старшей дочерью — Е. В. Шукшиной. Исследователям известны 3 дарственные надписи алтайского писателя периода 1972-1973 гг., адресованные Екатерине Шукшиной: «Дочери Кате — от папы. Там, вдали — это моя родина, Катя, и твоих сибирских предков. Будь здорова, родная! Папа В. Шукшин, Москва 1972 г.»; «Доченьке Кате — на светлую любовь и дружбу! В год, когда ты — первоклассница. Когда ты будешь первокурсница, я, бог даст, подарю тебе толстую-толстую книжицу. Будь здорова, моя милая! Папа В. Шукшин. Март 1972 г.»; «Дочери Кате — на долгую, добрую память от отца. Май 1973 г. Белозерск. В. Шукшин»²².

²⁰ Цитата из повести М. Горького «Городок Окуров» (1910).

²¹ Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. / под общ. ред. Д. В. Марьина. Барнаул: ООО «Издательский Дом «Барнаул», 2014. Т. 9. С. 82.

²² Там же. Т. 9. С. 84.

Общение Шукшина с дочерью, родившейся в 1965 году, в силу определенных причин всегда носило опосредованный характер. Однако в 1972 г. произошло сразу два важных события в жизни Екатерины: 4 марта В. М. Шукшин восстановил отцовство в отношении дочери, и она, наконец, стала носить отцовскую фамилию (ранее носила фамилию матери — Софронова). Кроме того, именно в 1972 г. девочка пошла в школу и научилась читать. Теперь она сама могла прочесть письма и дарственные надписи на книгах, посылаемых отцом. Содержание текстов автографов свидетельствует о стремлении Шукшина подчеркнуть и утвердить родственную связь, причем не только с собой, отцом, но и со всей патриархальной семьей («Там, вдали — это моя родина, Катя, и твоих сибирских предков»), в том числе и с сибирской ее частью (мать — М. С. Куксина и семья сестры). Но и в этом случае полноценное вхождение Е. В. Шукшиной в патриархальную семью писателя не произошло, остановившись лишь на уровне эрзац-семьи, так часто сопровождавшей жизнь Василия Макаровича. Автограф, как мы уже знаем, в мире Шукшина вовсе не устанавливает прочные связи между людьми.

У нас есть основания считать, что сам Шукшин осознавал ложный характер и своих даров. В одном из ранних рассказов — «Игнаха приехал» (1963) — реализован еще один вариант мотива дарения — подарки, которые привозят родным уехавшие некогда в город родственники. С. М. Козлова указывает на искусственность, поддельную суть таких подарков: «Облик и поведение Игнахи подчеркнуто театральны. Он суетливо разыгрывает сценарий: богатые столичные гости, в дорогих ярких нарядах, с богатыми подарками, изумляют деревенскую родню»²³. Подарки Игнага родным — не искренний, бескорыстный дар, а лишь демонстрация своего социального статуса, благосостояния. Искусственность подарков — следствие искусственного поведения героя. Игнатий хочет казаться в деревне своим, но вынужден

²³ Козлова С. М. Игнаха приехал // Творчество В. М. Шукшина: энциклопедический словарь-справочник. Т. 3. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. С. 112.

подделываться под деревенского жителя, так как давно оторвался от деревенского уклада и вместе с этим от своих корней.

Развитие данного мотива наблюдается в одном из самых известных рассказов писателя — «Срезал» (1970). В тексте Шукшин скрупулезно описывает подарки, которые привез матери «богатый, ученый» кандидат Константин Иванович: «электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки»²⁴. «Столичный гость подлаживается под деревню и привез искусные подделки деревенских предметов»²⁵. Приезд Константина Ивановича в деревню, так же как и Игнатия Байкалова, полон показных деталей и демонстрации благосостояния: «Деревня Новая — небольшая деревня, а Константин Иванович еще на такси подкатил, и они еще всем семейством долго вытаскивали чемоданы из багажника...»²⁶. Дар кандидата — дар ложный, фантом, симулякр.

Однако, как это ни покажется странным, подобные элементы поведения были не чужды и самому алтайскому писателю. Его племянник Сергей Зиновьев вспоминал, как дядя любил удивить родню подарками: «<...> мы знали, что на московских подарках он (т.е. В. М. Шукшин — Д. М.) не остановится, и в первый же день шли по сrostинским магазинам, но в начале, конечно же, заходили в книжный. <...> А однажды он купил набор пластинок Федора Ивановича Шаляпина. Проигрывателя у нас не было, и когда в универмаге он увидел «Каравеллу» и купил ее, мы все трое были рады этой покупке, потому что у нас дома были пластинки <...> Днем мы гордо ходили по улицам села, да еще с подарками, которые лёля Вася любил покупать в присутствии нас».²⁷

²⁴ Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. / под общ. ред. Д. В. Марьина. Барнаул: ООО «Издательский Дом «Барнаул», 2014. Т. 5. С. 72.

²⁵ Козлова С. М. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1992. С. 124.

²⁶ Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. / под общ. ред. Д. В. Марьина. Барнаул: ООО «Издательский Дом «Барнаул», 2014. Т. 5. С. 72.

²⁷ Цит по: Шукшин В. М. Надеюсь и верую: Рассказы. Киноповесть «Калина красная». Письма. Воспоминания. М.: Воскресенье, 1999. С. 459.

Известный сценарист Артур Макаров так вспоминал поездку в Сростки в марте 1963 г. во время акции «Молодые кинематографисты — народу»: «С утра к гостинице <...> подкатили две машины — газик представила кинофикация, а “Волгу” — райком комсомола. <...> В “Волге” катила Ренита Григорьева и туго схваченный за горло ангиной Наум Клейман. <...> У поворота с Чуйского тракта на Сростки “Волга” остановилась, поджидая нас, и Шукшин вылез, походил, крякнув, улыбнулся решительно:

— Я, ребята, сяду в машину пошикарней, а? Для мамашиного удовольствия и соседям поглядеть. По-нашему, по-деревенски — надо»²⁸. Авторская ирония в адрес кандидата Константина Ивановича, как видим, имеет автобиографические корни. Фальшивость своего поведения, а возможно, и дорогих подарков, которыми он старался удивить деревенскую родню, зрелый Шукшин четко осознавал. В еще одном рассказе 1970 г. «Крыша над головой» вновь появляется ложный дар: «прозревший» герой разбираемой пьесы Иван Петров сам поджигает свой дом, однако после того как пожар потушен, он отдает его колхозу под ясли. Поступок героя не понятен большинству актеров театрального кружка. Очевидно, что сам Иван остался без дома, и ясли в сгоревшем доме обустроить нельзя. В итоге «Иван, смущенный, но счастливый, подписывает вместе с другими парнями и девушками обязательство: сдать ясли к Новому году»²⁹. Но казенная формулировка и отсутствие указания на время действия рассказа не внушают доверия к тому, что ясли скоро обретут «крышу над головой». Подарок Ивана — дар ложный, более того, бессмысленный и противоречащий нормам традиционного крестьянского менталитета.

Вернемся к рассказу «Капроновая елочка». Подарок Нюрке от городского ухажера — искусственная елочка, эрзац рождественской ели — дар дешевый, мещанский, уровня глиняной кошки с бантиком или нарисованных на черном драпе лебедей,

²⁸ Макаров А. С. Побывка в Сростках // Шукшинский вестник. Вып. 1. Сростки, 2005. С. 172.

²⁹ Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. / под общ. ред. Д. В. Марьина. Барнаул: ООО «Издательский Дом «Барнаул», 2014. Т. 5. С. 94.

так часто и прямо порицаемый Шукшиным в публицистике («Вопрос самому себе»). Учитывая, что снабженцу в рассказе придаются атрибуты черта, капроновая елочка — это дар черта. Мотив подарка как дара нечистой силы реализован Шукшиным и в рассказе «Свояк Сергей Сергеевич» (1969): «Когда Андрей переступил порожек сарая, свояк Сергей Сергеич вдруг запрыгнул ему на спину и закричал весело:

— Ну-ка — вмах!.. До крыльца.

— Брось!.. — Андрей передернул плечами. — Ну?

Свояк сидел крепко.

— Ну, до крыльца! Ну? — Сергей Сергеич от нетерпения пришпорил в бока Андрею. — Ну!.. Шутейно же. Гоп! Гоп!.. Аллюром! Что, трудно, что ли?

Проклятый мотор! Черт его подсунул, не иначе. Стерва металлическая... Андрей у крыльца чуть не сбросил свояка через голову, чуть не зашиб его об ступеньки, потому что тот, когда скакали, еще и орал:

— Еге-ей! Скакал казак через долину!.. Гоп! Гоп!..»³⁰. Инфернальность, разгул бесовских сил в этом рассказе возможно связать с «говорящей» фамилией свояка: Неверов. Свояк Сергей Сергеевич, оседлавший Андрея, напоминает гоголевского «черта, оседлавшего человека»³¹.

В прозе середины 1960-х гг. и более поздней отношение писателя к дару становится еще определеннее. Мотив ложного дара прямо реализован в романе «Я пришел дать вам волю» (1970). Богатые подарки казаков астраханской знати есть не что иное, как обман и в итоге дорого обойдутся тем, кто их принял: «Степан стоял прямо, в упор смотрел на сидящих за столом.

— А вот дары наши малые, — продолжал он, не оглядываясь.

<...> За столом случилось некое блудливое замешательство. Знали: будет Стенька, будет челом бить, будут дары... Не думали только, что перед столом будет стоять крепкий, напористый

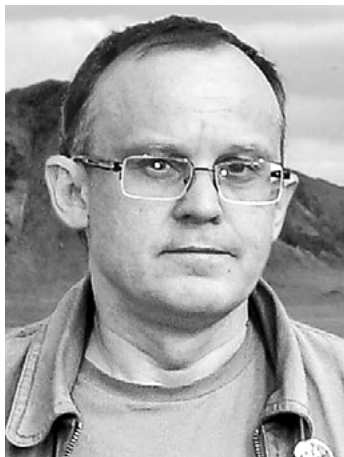
³⁰ Там же. Т. 5. С. 12.

³¹ Куляпин А. И., Левашова О. Г. В. М. Шукшин и русская классика. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. С. 34.

человек и что дары (черт бы побрал их, эти дары!) будут так обильны, тяжелы... Так захотелось разобрать эти тюки, отнести домой, размотать...»³².

Приведенные нами примеры, возможно, не исчерпывают все тексты Шукшина, но вполне показательны, их достаточно, чтобы утверждать наличие варианта мотива дара в художественном мире писателя — дара ложного, мнимого, который к тому же является атрибутом бесовской, нечистой силы. Источником для происхождения подобной семантики мотива дара могут быть дарственные надписи Шукшина, в которых в свою очередь, могли прямо отразиться психологические и биографические явления, связанные с личностью самого Шукшина. В художественных текстах они получили более опосредованную реализацию. Дарить без каких-либо условий, без наложения долговых обязательств, героям Шукшина в художественном мире часто было так же сложно, как и самому писателю в реальной жизни.

³² Шукшин В. М. Собрание сочинений: в 9 т. / под общ. ред. Д. В. Марьина. Барнаул: ООО «Издательский Дом «Барнаул», 2014. Т. 4. С. 68.



Александр Куляпин

Родился в 1958 году в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Окончил филологический факультет Алтайского государственного университета. Доктор филологических наук, профессор. Автор более 150 научных публикаций, в том числе нескольких монографий. Живет в Барнауле.

ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ:

космическая тема в деревенской прозе
1960 годов

Для послесталинского периода истории СССР задачи по освоению космоса, безусловно, были приоритетом номер один. На первом этапе развития отечественная космонавтика достигла небывалых высот. Ее успехи в 1950–60-х гг. вызывали законное чувство гордости за нашу науку — самую передовую в мире, но позже, в семидесятых, именно поражение в космической гонке нагляднее всего показало бесперспективность советского проекта в целом.

От каждого, кто обращался к космической теме в 1950–60-х гг., читатель мог ждать восторженного пафоса, и, как правило, в своих ожиданиях обманут не был. Не совпала с господствующей в советской литературе тональностью, судя по всему, лишь деревенская проза. На фоне всеобщего

энтузиазма скепсис писателей-традиционалистов выделялся особенно заметно.

Прорыв в космос совпал по времени с хрущевской оттепелью, с крушением железного занавеса. Полет Гагарина стал катализатором процесса трансформации советского хронотопа, на что справедливо обратили внимание в книге «60-е. Мир советского человека» П. Вайль и А. Генис: «В сознании утверждалось ощущение новых пространственно-временных отношений. <...> Для советского человека космос был еще и символом тотального освобождения»¹.

Советский мир оттепельного периода — это открытая, расширяющаяся вселенная. Гражданину СССР еще вчера элементарное путешествие в Париж казалась доступно в той же мере, что путешествие в царство мертвых. «...Заграница — миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается», — объясняет в «Золотом теленке» (1931) Остап Бендер². Ассоциация заграницы с загробным миром довольно устойчива, ее можно найти, например, и в «Самоубийце» Н. Эрдмана (1928): «— Мы сейчас провожаем Семена Семеновича <...> в мир, откуда не возвращаются. — За границу, наверно? — Нет, подалее...»³. В начале же космической эры даже Луна и Марс представляются советскому человеку вполне доступными для посещения местами. Впрочем, не только советскому. Известный американский психолог искусства Рудольф Арнхейм 11 октября 1959 года записывает в дневнике: «С тех пор как советская ракета облетела луну и вернулась на землю, мое восприятие нашего небесного спутника начало меняться. Я больше не вижу в нем небесное светило или место, которое я никогда не посещу. Теперь Луна смотрится как ориентир

¹ Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. Изд. 2-е, испр. М., 1998. С. 15, 25.

² Ильф И., Петров Е. Золотой теленок // Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: в 5 т. Т. 2. М., 1961. С. 350.

³ Эрдман. Н. Самоубийца // Эрдман Н. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. М., 1990. С. 125.

на горизонте, далекий, но достижимый. Это путь, который ведет через космос к другим мирам»⁴.

Деревенская проза этот характерный для эпохи пафос радикального разрыва с почвой, разумеется, принять не могла. Ирония по поводу очень распространенного в начале шестидесятых годов порыва к чужим мирам заметна, в частности, в рассказе Е. И. Носова «Есть ли жизнь на других планетах?» (1965). Героиня этого рассказа, узнав, что ее попутчик — лектор, мгновенно угадывает тему его будущей лекции.

«— Я лектор. Буду читать у вас лекции.

— На какую тему? Есть ли жизнь на других планетах?

— Да... А как вы угадали?

— Что ж тут угадывать? — усмехнулась Лена. — По вас видно. Какой-то вы... потусторонний»⁵.

Лектор Стремухов действительно убежден, что внеземная жизнь существует. Лена предпочла бы, чтобы Земля была единственным местом, где обитают люди. «— А мне не хочется, чтобы еще где-нибудь была жизнь», — перебивает Лена псевдонаучные рассуждения Стремухова, «космонавта... в мокрых брюках», как позже она его метко окрестит⁶.

Анфиска, героиня другого произведения Е. И. Носова — повести «Шумит луговая овсяница» (1966) — вполне разделяет точку зрения Лены: «Вот песни по радио поют, — вздохнула Анфиска. — Про свиданье на луне. Глупости какие, господи! Земли, что ли, мало? Только любите по-хорошему»⁷.

Анфиска, вероятнее всего, говорит о популярнейшей песне из репертуара Ларисы Мондрус «Милый мой фантазер» (музыка

⁴ Арнхейм Р. В параболах солнечного света. Заметки об искусстве, психологии и прочем. СПб., 2012. С. 18.

⁵ Носов Е. И. Есть ли жизнь на других планетах? // Молодая гвардия. 1965. № 2. С. 224.

⁶ Там же. С. 225, 227.

⁷ Носов Е. И. Шумит луговая овсяница // Носов Е. И. Избранные произведения: в 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 33.

Э. Шварца, стихи А. Дмоховского), в которой тема встречи влюбленных на Луне становится рефреном:

Где ж назначить мне свидание,
Встречу назначить где?
Где же с тобою встретиться мне?
Не под луною, а на Луне.

Ту же или очень похожую на нее песню подразумевает будущий инженер Серега из рассказа В. М. Шукшина «Воскресная тоска» (1962). Серега жестко критикует роман своего соседа по общежитию, небезосновательно подозревая, что положительные герои в произведении того склеены по модным шаблонам литературы начала шестидесятых: «— Песни, наверно, поют о спутниках. <...> Я бы за эти песенки, между прочим, четвертовал. Моду взяли! “Назначаю я свидание на Луне-е!..” — передразнил он кого-то. — Уже свиданье назначил! О! Да ты попади туда! Кто-то голову ломает — рассчитывает, а он уже там. Кретины!» И его приятель, начинающий писатель, вынужденно соглашается: «Между прочим, насчет песенок — это он верно, пожалуй»⁸.

Как и писатели-деревенщики, Шукшин даже на рубеже 1950–60-х гг. не разделял космической эйфории, охватившей почти всех его современников.

Одна из песен на тему межпланетных путешествий не могла не привлечь особого внимания Шукшина, ведь называлась она — «Мой Вася» (музыка О. Фельцмана, стихи Г. Ходосова). Эта песня — типичный продукт оттепельного масскульта. Мотив полета на Луну появляется здесь в финале:

⁸ Шукшин В. М. Собр. соч.: в 9 т. Т. 1. Барнаул, 2014. С. 84–85.

В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома (римской) и страницы (арабской) цифрой в скобках.

С тобою хорошо при лунном свете
Мечтать о недалёком ясном дне,
Когда начнутся путешествия в ракете,
То самым первым будет на Луне
Мой Вася!
Он первым будет даже на Луне!

Симптоматично композиционное построение стихов Г. Ходосова. В первых куплетах его песни Вася предстает всего лишь в качестве тени трех знаменитостей пятидесятых: Жерара Филиппа («В кино смотрела я вчера Жерар Филиппа, / А все казалось мне, что это ты, / Мой Вася!»), Ива Монтана («И если слушала я даже Ив Монтана, / То мне казалось, это ты поешь, / Мой Вася!»), Анатолия Ильина («И если сходу гол забил Ильин в ворота, / То мне казалось, это сделал ты, / Мой Вася!»). В расположении звезд кино, эстрады и спорта важна их близость к советскому миру. Актер Жерар Филипп в советский космос никак не вписывается; Ив Монтан, «большой друг» СССР, уже втянут в зону притяжения советского; нападающий же сборной страны по футболу Анатолий Ильин находится внутри советской орбиты. В заключительном куплете песни центростремительное движение неожиданно сменяется центробежным: «мой Вася» наконец-то оказывается не вторым, а первым, но только — на Луне.

Шукшин упомянул песню «Мой Вася» дважды. Сначала — в первом варианте сценария «Посевная кампания» (I, 387). Правда, в окончательном тексте Шукшин оставил название другой песни все того же О. Фельцмана — «Ландыши» (I, 265). Писатель соблазнился прямолинейным контрастом. «Я не верю, что года / Гасят чувства иногда...» — должна была петь Гелена Великанова в сцене, где герой признается секретарю райкома в супружеской измене и сообщает о грядущем разводе. Оставив песню «Мой Вася», Шукшин добился бы более тонкого эффекта, примерно такого же, как в рассказе «Крыша над головой» (1970).

В самом конце этого рассказа автор пьесы ««Крыша» над головой» присылает в кружок художественной самодеятельности, где происходит читка его произведения, телеграмму с уточнением: «Песню “Мой Вася” снимите. Точка. Героиня поет: “Вот кто-то

с горочки спустился». Точка. Желаю удачи. Копылов» (V, 97). Тема рассказа «Крыша над головой» — крах патриархальной крестьянской семьи. Символом этого краха становится поджог героем построенного собственными руками дома. Шукшин предельно обостряет проблему раскрестьянивания, отрыва сельских жителей от земли. Его Иван — уже не крестьянин. «Крестьян теперь <...> нет — колхозники», — уточняет «специалист по вопросам старины» Елистратыч (V, 92). Но беда в том, что Иван даже уже и не колхозник, он — бездомный солдат (V, 96). Становится понятна причина выбора песни «Вот кто-то с горочки спустился». В контексте сюжета пьесы «“Крыша” над головой» песня «Мой Вася» приобрела бы нежелательный для областного драматурга смысл, ведь получалось, что «первым будет на Луне» человек, сжигающий свой дом.

Реальность, впрочем, перечеркнула надежды «моего Васи» хоть раз стать первым, а не вторым. Незадолго до публикации рассказа «Крыша над головой» первым на Луне побывал вовсе не русский Вася, а американец Нил Армстронг.

Для писателей-деревенщиков космическая тема периферийна. В произведениях же Шукшина присутствует устойчивый комплекс мотивов и образов, складывается своего рода «космический текст» или «космический миф». Существенная деталь этого текста — на Луну предлагают лететь только те шукшинские персонажи, которые не сумели наладить жизнь на земле.

Стараящийся укорениться в жизни Пашка Любавин из второй книги романа «Любавины» с раздражением реагирует на совет Ивана думать про луну, чтобы отвлечься от мыслей о своей несчастной любви:

— Спи, — посоветовал Иван. — Или думай про луну вон... Там, говорят, холодище!..

— На луне?

— Ага.

— Я ему одно, он — другое. На кой она мне, луна, сдалась? Тут на земле никак не устроишься...» (II, 371).

И, напротив, неприкаянные персонажи повести для театра «А поутру они проснулись...», чтобы отрешиться от земных проблем, совсем не прочь поговорить о луне. «Сухонький» очень

темпераментно нападает здесь на советских ученых, проигравших в «лунной гонке» американцам: «До сих пор на луну не высадились, а по вытрезвителям бегаєте. На луну лететь надо, вот что! — сухонький чего-то осмелел и стал кричать на социолога. — Взяли моду — рису-уют, высмеивают... А на луну кто полетит?! Пушкин? Чем рисованием-то заниматься, на луну бы летели. А то на луну вас не загонишь, а по вытрезвителям бегать — это вы рады без ума. Чего тут хорошего? — бегаєте... Чего тут интересного? Ничего тут интересного нет — хворают люди, и все. Тяжело людям, а вы бегаєте с вопросами. На луну надо лететь!» (VII, 257). Примечательно выражение «сухонького» — «на луну вас не загонишь». У Шукшина на Луну надо «загонять».

В повести-сказке «Точка зрения» (1974) в соцреалистической версии развития сюжета Невеста вспоминает пожилого соседа: «— Когда я еще была маленькой, — заговорила Невеста, — дядя Семен водил меня в планетарий, показывал на Луну и говорил: “Учтите, вы там будете”. И плакал» (III, 278). Семен Кузьмич, уподобленный ни много ни мало Циолковскому (III, 278), плачет, естественно, от умиления и радости. Однако, поскольку формулировка «Учтите, вы там будете» звучит скорее угрожающе, его слезы поколению покорителей космоса ничего хорошего не предвещают.

«Шукшин наделяет <...> Луну значением, связанным с ее “чуждостью”⁹. При этом тему «чуждой» Луны писатель, «как правило, контаминирует с мотивом чуждости героя, понимаемым в аспекте этическом как морально-нравственная его несостоятельность»¹⁰. Пожалуй, отчетливее всего этот, подмеченный О. А. Скубач, параллелизм между «чуждостью Луны» и «чуждостью героя» прослеживается в рассказе «Срезал» (1970).

Глеб Капустин «срезает» «кандидата» Константина Ивановича в споре о проблемах освоения космоса. Выбор именно этой темы,

⁹ Скубач О. А. Луна // Творчество В. М. Шукшина. Энциклопедический словарь-справочник: в 3 т. Т. 2. Барнаул, 2006. С. 103.

¹⁰ Там же.

конечно, не случаен. Глеб Капустин явно испытывает к космической тематике повышенный интерес. После первого предварительного вопроса о «первичности духа и материи» он требует от «кандидата» философского определения понятия невесомости, а кульминацией разговора становятся рассуждения Глеба Капустина о возможной встрече человека с обитателями Луны.

Полет американского корабля «Аполлон 11», несомненно, стал важнейшим событием 1969 года. Маленький шаг астронавта Н. Армстронга по поверхности Луны стал, по его собственному точному выражению, «гигантским прыжком для всего человечества». В советской прессе, впрочем, успех американской космонавтики постарались не заметить. Сообщения о полете американских астронавтов были оттеснены на последние полосы газет — обычный прием идеологической борьбы. «Правда», например, 22 июля 1969 года опубликовала небольшую заметку «Земляне на Луне» только на пятой странице, а первая полоса вышла под «шапкой» «Братский привет народной Польше». Преодолеть беспредельные космические расстояния оказалось легче, чем сблизить позиции двух враждебных идеологий.

Р. Барт в 1954 году в связи с массовым распространением сообщений о летающих тарелках писал: «Тайна “летающих тарелок” была изначально земной: как полагали, тарелки прилетают из неведомой советской сферы, чьи намерения столь же темны, как и намерения инопланетян. Однако уже в такой форме мифа содержалась возможность его космической разработки; летающая тарелка потому столь легко превратилась из советского летательного аппарата в марсианский, что в западной мифологии мир коммунизма фактически считается столь же чуждым, как мир инопланетный; СССР — это нечто среднее между Землей и Марсом»¹¹. Советская мифология ничем от западной не отличалась. Для журналистов «Правды» вступить в контакт с инопланетянами было бы, наверное, гораздо легче, чем найти общий язык с идеологическими противниками из Америки.

¹¹ Барт Р. Мифологии. М., 1996. С. 86.

Среди комически нелепых вопросов, заданных Глебом Капустинным «кандидату», только один можно признать по-настоящему философским: «Готовы мы, чтобы понять друг друга?» (V, 76). Ясно, что вопрос этот относится, не к фантастичным селениям, а к вполне реальным жителям земли, и ответ на него может быть только отрицательным: «Не готовы». В рассказе «Срезал» изображена ситуация полной декоммуникации, никто никого не слышит, не понимает и даже не пытается понять. «...Не понял кандидат», «...опять не понял кандидат», — эти и подобные им авторские ремарки тому свидетельство (V, 74).

Космическая тема почти автоматически предполагает обсуждение проблемы контакта с обитателями инопланетных миров. Начало космической эры прошло под знаком ожидания «близких контактов третьей степени». В художественном мире Шукшина контакт чаще всего невозможен.

Мысль о недостижимости полноценного общения с братьями по разуму легла в основу наброска «Как сложили анекдот» из цикла «Выдуманные рассказы»: «Про луну... Один человек добывал какую-то бумажку (справку), измучился, устал, обзлился и “склал” анекдот: “Подлетают к луне, а там спрашивают: “А у вас справка с места жительства есть?”» (IX, 59). Контакт с лунными аборигенами не налаживается по двум причинам. Во-первых, как ни странно, из-за общности менталитета землян и селенитов: лунные бюрократы абсолютно тождественны земным. А во-вторых, ни у одного шукшинского «космонавта» нет справки с места жительства, так как нет и самого места жительства. Мотив бездомности варьируется Шукшиным в пределах широкого диапазона — вплоть до крайнего проявления в последней, незаконченной повести «А поутру они проснулись...», где герой не знает даже названия города, в вытрезвителе которого проснулся поутру (VII, 238).

Неудачная попытка контакта скрывается, согласно гипотезе героя рассказа «Капроновая елочка» (1966), за взрывом Тунгусского метеорита:

«...В девятьсот восьмом году не метеор в тайгу упал, а люди какие-то к нам прилетали. С другой планеты, — заговорил Павел, обращаясь к Федору.

— Ерунда все это, — авторитетно заявил ухажер. — Фантазия.

— Что-то у них испортилось, и произошел взрыв — малость не долетели, — продолжал Павел, не обращая внимания на замечания ухажера. — Как считаешь, Федор?

— А я откуда знаю?

— По-моему, люди были, — сам с собой стал рассуждать Павел. — Что-нибудь не рассчитали... Могло горючего не хватить» (III, 44).

Павел, объясняя причину тунгусской катастрофы, почти дословно повторяет слова Гриньки Малюгина из одноименного рассказа (1962) и Пашки Колокольникова из киноповести «Живет такой парень» (1964). «Меня же на Луну запускали, — рассказывает каждый из героев. — Долетел до половины, и горючего не хватило» (I, 179, 302). В «Капроновой елочке» «малость не долетели» до Земли люди с другой планеты, и «малость не дошел» до Буланово к своей возлюбленной городской ухажер. Только полпути до Луны преодолел, да и то в своих фантазиях, Гринька Малюгин, и его воображаемый роман с ленинградской журналистской развивается по той же модели. Космические коллизии — не что иное, как проекция коллизий земных.

В сознании и в бессознательном поколения, к которому принадлежал Шукшин, инопланетяне — эрзац-заменитель Отца и Бога. Писатель прекрасно осознавал религиозный характер всеобщей жажды встречи с внеземными цивилизациями. У него в рассказе «Верую!» (1971) даже поп предлагает верить не в Бога, а в «космос и невесомость!» (V, 229).

Не без иронии воспроизводит писатель псевдонаучные мечты о всемогущих гуманоидах, готовых облагодетельствовать человечество, в рассказе «Космос, нервная система и шмат сала» (1966). Между стариком Наумом Евстигнеевичем и его квартирантом, восьмиклассником Юркой нет ничего общего, что хоть как-то сближало бы их. Сходятся они только в одном — в отрицании Бога. «Нету его», — безапелляционно заявляет Юрка. «Странно, но старик в бога тоже не верит», — считает необходимым проинформировать автор (III, 9). Любопытно, что при столь недвусмысленном решении религиозной проблемы, Юрка и Наум Евстигнеевич почему-то, как подчеркивает Шукшин, «частенько

возвращались к теме о боге» (III, 10). Вся непоследовательность атеистической позиции героев выявляется в тот момент, когда разговор о Боге плавно перетекает у них в разговор о космосе. Юрка (что немаловажно — тезка Гагарина) рисует перед стариком захватывающую картину светлого будущего. Причем человечеству даже не надо прикладывать никаких усилий, все блага цивилизации будут получены из рук инопланетян. Обычный путь научно-технического прогресса кажется Юрке слишком медленным: «Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до Галактики» (III, 11–12). Выросшему без отца, лишенному веры в Бога Юрке только и остается уповать на мифических инопланетян: «Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем. Вот и получится тогда то самое царство божие, которое религия называет — рай» (III, 11). Искомая цель не нова — обретение царства божия, вот только способ достижения этой цели не совсем традиционный. В утраченный рай человечество приведет не вера, не трудная работа над самоусовершенствованием, а добрые и заботливые инопланетяне.

В. П. Астафьев в рассказе «Ночь космонавта» (1972) вслед за В. М. Шукшиным вписывает в контекст космической темы мотив поджога дома, но, в отличие от автора «Крыши над головой», он делает это открыто. Лесник Захар Куприянович со странным спокойствием произносит в рассказе Астафьева фразу: «... коли потребуется, избу спалю — не изубычусь»¹². Захар Куприянович готов спалить избу, конечно, не просто так, а ради спасения потерпевшего катастрофу космонавта, но это мало что меняет, ведь Дом в рассказе — это не только избушка лесника. Астафьев рисует почти апокалипсическую картину: сгорает дом всего человечества — Земля, и дорога в космос начинается

¹² Астафьев В. П. Ночь космонавта // Астафьев В. П. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2. М., 1980. С. 506. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы в скобках.

с этого пепелища. Необходимость космических полетов мотивируется в рассказе исчерпанностью земных ресурсов: «В требухе матери-Земли, вежливо называемой недрами, — скоро ничего уже не останется из того, что можно сжечь, переплавить: все перерыто, сожжено» (507).

Вернувшийся на Землю космонавт Олег Дмитриевич испытывает «непонятное раскаяние перед родным домом, перед отцом <...>, которых он так надолго покидал», и «у него, как у блудного сына, вернувшегося под родной кров, вдруг безудержно покатались по лицу слезы» (497).

Рассказ «Ночь космонавта» был впервые опубликован в журнале «Сельская молодежь» (№ 11 за 1972 год). 20 марта того же года состоялась премьера «Соляриса» А. Тарковского. В финале фильма режиссер «цитирует» полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына», недвусмысленно уподобляя космонавта персонажу библейской притчи. Так же поступает и В. Астафьев. Между рассказом и фильмом возникают концептуальные переклички. Герои «Соляриса» в одной из последних сцен говорят о необходимости возвращения на Землю, однако вместо реального возвращения А. Тарковский изображает возвращение фиктивное. Фильм заканчивается тем, что Океан — инопланетный разум — создает фантомную копию отца главного героя вместе с имитацией отцовского дома. Блудный сын А. Тарковского опускается на колени не перед настоящим отцом, а перед симулякром, воплощающим одновременно и физического отца, и Отца Божественного.

Герой В. Астафьева возвращается на Землю, к отцу, по-настоящему. Его путь — из симулятивной реальности в мир подлинного. Так, подкрепившись «божьей пищей» из тюбика, Олег Дмитриевич мечтает: «— Хлебца бы крошечку, ржаного, с корочкой!» На что лесник иронически откликается фразой: «— Что, ангел небесный, на искусственном-то питанье летать будешь, а на гульбу уж, значит, не потянет?» (505, 506).

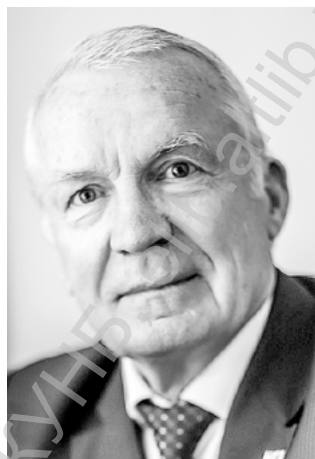
Вывод В. Астафьева близок к точке зрения других писателей-традиционалистов: «...Дом родной, он хоть какой суровый, а краше его во всем свете нету...» (505). Но для того, чтобы прийти к пониманию этой простой истины, надо обязательно

отправиться в «бездонную, темную, равнодушную, безголосую пустоту» (530). В. Астафьев говорит об этом дважды. Сначала, цитируя «вызывающий ответ одного из первых космонавтов на глупый вопрос какого-то заслуженного пенсионера, ставший злой поговоркой: “Где лучше жить — на земле или в космосе?” — “На земле! После того как слетаешь в космос!”» (510). А потом уже от лица повествователя: «Стоило бы каждого человека хоть раз в одиночку послать туда, в эту темень и пустоту, чтобы он почувствовал, как хорошо дома, как все до удивления сообразно на земле, все создано для жизни и цветения» (520).

На последней странице рассказа В. Астафьева космос сравнивается с океаном, но это не живой, разумный Океан А. Тарковского. Визуально финал рассказа «Ночь космонавта» напоминает финал «Соляриса», но смысл его противоположен: «...Какое счастье, что есть в этом темном и пустом океане родной дом, в котором всем хватает места и можно бы так счастливо жить» (530).

Владимир Чикильдик

Родился на Алтае в селе Ребриха в 1950 году. Кадровый военный. Окончил Ачинское военное авиационно-техническое училище. Имеет историческое и экономическое образование. Лауреат краевых литературных премий им. Владимира Свинцова (2009) и им. Геннадия Панова (2017). В 2016 году с книгой «Там, за поворотом» стал лауреатом фестиваля «Издано на Алтае» в номинации «Лучшая книга художественной прозы». Живет в Барнауле.



МАДОННА С ГЕРОЯМИ

Удивительным образом переплетаются иной раз судьбы людские, вбирая в себя встречи, события и факты, которые на первый взгляд в жизни просто невозможны. Однако когда идет речь о войне, невозможное вполне становится если не обыденным, то очень даже возможным.

В сентябре 1989 года в нашу 105-ю авиационную дивизию истребителей-бомбардировщиков, располагавшуюся в небольшом немецком городе Гроссенхайне в тридцати пяти километрах западнее Дрездена, прибыла группа советских ветеранов Великой Отечественной, легендарные летчики — Герои Советского Союза Аркадий Васильевич Фёдоров, Иван Ильич Бабак, Михаил Петрович Девятаев, Константин Васильевич Сухов и другие летчики-покрышкинцы.

Нашу дивизию, которой в ту пору командовал генерал-майор авиации Николай Иванович Посредников, они выбрали

неслучайно. Здесь в мае 1945 года прославленные авиаторы воевали в составе 9-й гвардейской Мариупольско-Берлинской орденов Ленина и Богдана Хмельницкого Краснознаменной авиационной истребительной дивизии, которой командовал трижды Герой Советского Союза полковник Александр Иванович Покрышкин, впоследствии маршал авиации.

Четыре дня ветераны гостили в дивизии, там, где встретили день Великой Победы. Они побывали во всех гарнизонах, встречались с молодыми летчиками, интересовались боевыми возможностями новой авиационной техники, делились воспоминаниями.

Первым делом самолеты

По рассказам полковника Аркадия Васильевича Фёдорова, бывшего командира авиаэскадрильи, а затем и полка, на военном аэродроме города Альтдорф весной 1945 года Покрышкин должен был разместить один из авиационных полков своей дивизии.

Известно, что авиация наступает тылами. И вот, когда на аэродром прибыли части обеспечения, чтобы провести необходимые работы для приема первых бортов, выяснилось, что немцы перед отступлением вывели из строя взлетную полосу и рулёжные дорожки.

Посадка самолетов могла осуществляться только после ремонта полосы. Однако боевых задач по прикрытию наших войск с воздуха никто не отменял. И эти задачи были с честью выполнены. Самолеты дивизии Покрышкина внезапно появлялись над немецкими позициями и наносили врагу огромный урон. Как это было достигнуто?

Александр Иванович, лично обследовав окрестности Альтдорфа, обнаружил ровный прямой участок шоссе Бреслау — Берлин около деревни Аслау. Автострада состояла из двух бетонированных полос, разделенных нейтральной полосой почвы шириной в полтора метра. Бросив туда людей и технику, Покрышкин через несколько дней имел полевой аэродром. Узкая полоса земли была присыпана щебнем и плотно укатана, соединяя обе бетонированные полосы длиной немного более километра, что вполне обеспечивало взлет и посадку. Деревья

и кустарник по обочинам шоссе были вырублены, налажено авиационно-техническое обеспечение полетов. Во время взлета и посадки участок шоссе оцеплялся охраной, чтобы остановить движение транспорта.

— Наш комдив первым лично посадил свой самолет на автобан, а следом за ним совершил посадку его ведомый Георгий Голубев, а затем и другие летчики полка, — рассказывал Аркадий Васильевич. — Именно отсюда затем мы выполняли боевые вылеты, пока не отремонтировали основной аэродром.

Подобного не знала история военной авиации. Противник недоумевал: откуда в этом районе могли действовать истребители русских, если в радиусе более сотни километров ни одного более-менее пригодного к полетам аэродрома.

— Фашистские воздушные разведчики рыскали вдоль и поперек этого района, — продолжал Фёдоров. — Попробовали выбрасывать они и своих парашютистов, но так и не смогли раскрыть тайну, откуда внезапно взлетают десятками «Аэрокобры» и также таинственно исчезают, уходя на неизвестный аэродром. Конечно, при помощи радионавигационных средств немцы определили приблизительное место базирования наших истребителей. Но все попытки точно установить их дислокацию ни к чему не приводили.

После войны до ликвидации в 1993 году советской Западной Группы войск этот участок шоссе предполагался — в случае вывода из строя основного — для использования в качестве запасного аэродрома расположенной на территории Германии нашей 16-й воздушной армии.

Своих не бросаем

В составе делегации фронтовиков находился один из командиров полков покрышкинской дивизии, капитан в отставке Бабак Иван Ильич. У него необычайно удивительная трудная военная судьба. Героя Советского Союза Ивана Бабака в двадцать пять лет назначили командиром 16-го гвардейского авиационного полка в воинском звании... старшего лейтенанта! Обстановка

была тяжелая, потери на подступах к Берлину огромные, даже опытные летчики выбывали из строя.

Молодой летчик Иван Бабак воевал блестяще. 14 марта 1945 года комдив полковник Покрышкин направил в штаб армии документы на присвоение Ивану Бабаку звания дважды Героя Советского Союза. А пару дней спустя, 16 марта, прямо из бани, не успев до конца одеться, он вылетел по тревоге на разведку особо важной цели в районе небольшого немецкого города Лаубан.

Иван Ильич рассказывал:

— Ведомым у меня был недавно прибывший из авиационного училища младший лейтенант Козлов. Когда боевая задача была практически решена, возвращаясь на свой аэродром, недалеко от линии фронта я обнаружил вражеский эшелон с войсками и техникой. В воздухе спокойно, на борту полный боекомплект. Удобный случай ввести в строй молодого летчика. Говорю ведомому: «Атакуем!» От наших точных ударов загорелось несколько вагонов. И тут – на тебе! Пулеметная очередь прошла мою машину. Всю войну прошел, словно заговоренный, — ни ранения, ни царапины. И лез, что называется, в самое пекло...

Раненый летчик упал на позиции вражеских артиллеристов и в полубессознательном состоянии, сильно обгоревший, был взят в плен.

— Когда бежал от бани к самолету, ордена свои я не успел нацепить, не до того было, — вспоминал Бабак. — Ну и решил выдать себя за рядового летчика. А немцы слушают мои байки и смеются. Потом дают мне альбом с фотографиями наших асов-истребителей, где на первом месте красовался портрет Покрышкина, ну и моя личность там тоже оказалась.

Попав в плен к немцам, Иван Ильич не сломался, пытался бежать из лагеря, был схвачен, затем переведен в другой лагерь на территорию Чехословакии. Впоследствии лагерь оказался в зоне оккупации сначала американцев, затем наших войск.

— Я все время пытался передать Покрышкину весточку о себе. Однажды это удалось. При следовании на работы я выбросил с машины записку, обернутую на камень. В ней содержалась просьба передать ее моему комдиву Александру Ивановичу Покрышкину.

Когда Покрышкину стало известно, что в одном из лагерей — совсем рядом, в 150 км от Гроссенхайна — содержится его боевой командир полка, он немедленно отправился выручать своего друга. На «Студебеккере» со взводом автоматчиков в кузове Александр Иванович прибыл в лагерь военнопленных. Однако начальник лагеря категорически отказался выдать заключенного Бабака. На слова Покрышкина, что это же Герой Советского Союза, он ответил, что героев тут нет — только предатели. Выручила военная смекалка.

— Как мне потом рассказал сам Покрышкин, — с улыбкой продолжал Иван Ильич, — он прихватил с собой флягу авиационного спирта. Когда разговор не пошел, наш командир предложил лагерному начальнику отведать авиационного ликера. С условием — кто первым «сойдет с дистанции», тот проиграл. Авиация победила, и я уехал вместе с командиром.

После возвращения в дивизию, вопреки всем возражениям особого отдела, Покрышкин вновь назначил Ивана Бабака командиром полка! Вскоре после Победы в дивизию прибыл командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Покрышкин представил ему своих командиров полков.

— Что-то звездочек маловато у этого командира, — кивнул маршал на старлейские звездочки Бабака.

На следующий день пришел приказ о присвоении Ивану Бабаку очередного воинского звания — капитан. Однако после победы летать и служить Родине герою войны не дали — находился в плену. Это было как клеймо. Комдив как мог защищал командира полка перед грозным ведомством, но и он был не всемогущ.

Иван Ильич вспоминал, что в 1947 году был отправлен в Москву на учебу. Покрышкин решил таким образом спрятать своего боевого товарища от бдительного ока «Смерша». Но и там отважному летчику не довелось доучиться до конца — командир курса посоветовал получить «неуд» по одному из предметов. Когда же Иван Ильич отказался это сделать, то был просто отчислен без объяснения причин.

Иван Бабак уехал в Полтавскую область, всю оставшуюся жизнь учительствовал и никогда не надевал боевые награды.

Но и в дальнейшем обстоятельства складывались для Ивана Ильича крайне неблагоприятно. Особисты не оставляли его в покое. Много лет ни учителя, ни дети не знали, что их преподаватель химии — один из лучших асов Великой Отечественной войны. Но все знали о его плене, а это в советские времена не приветствовалось. Выручил бывший командир дивизии: Покрышкин всегда приглашал Бабака на встречи однополчан, потом помог с изданием книги. Иван Ильич написал повесть «Звезды на крыльях» — книга документальная, только главного героя назвал Иван Ильич Бельский.

На одной из первых встреч с однополчанами в Киеве, рассказывал Иван Ильич, Покрышкин обратил внимание, что на пиджаке у Бабака нет ни одной награды. Вот тогда он и получил от своего комдива:

— Ну, знаешь ли, друг любезный, от такой твоей скромности гордыней и обидой на весь свет отдаст. «Золотую Звезду» тебе вручили не для того, чтобы ты ее в шкатулке прятал! — возмутился Покрышкин, затем снял со своего кителя Звезду. — Вот тебе дубликат, у меня еще есть, и будь добр, носи ее и пацанов на примере своих подвигов воспитывай!

Так всю жизнь и поступал герой. Иван Ильич умер в июне 2001 года, похоронен на главной аллее Центрального кладбища Полтавы. На стене школы №7 им. Тараса Шевченко, директором которой Бабак был с 1971 по 1975 год, установлена мемориальная доска.

Девятаев. Полет в легенду

Не менее драматичной была судьба и еще одного покрышкинца — Героя Советского Союза, почетного гражданина нескольких городов ГДР Михаила Петровича Девятаева. За те дни, которые ветераны провели в дивизии, Михаил Петрович много рассказывал о том, как побывал в плену, как готовился к победе, как трудно было выживать после войны, когда на всех бывших военнопленных стояло клеймо предателя.

Удивительной закваски все-таки было поколение победителей! Все вынесли: и тяжелые потери, и утраты войны, и невероятные

тяготы послевоенной жизни и быта, и людскую ненависть. Однако непоколебимая вера в победу, в правду, добро и справедливость помогли им выжить и победить.

Михаил Петрович Девятаев — ровесник Октября, по национальности мордвин-мокшанин. В 1938 году он окончил Казанский речной техникум, одновременно и курсы в аэроклубе. После окончания техникума работал помощником капитана баркаса на Волге, Свердловским РВК города Казани призван в Красную Армию. В 1940 году окончил 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков им. К. Е. Ворошилова. В действующей армии с 22 июня 1941 года. Боевой счет открыл на третий день войны, сбив под Минском пикирующий бомбардировщик Junkers — «Ju 87». За победы, одержанные в воздухе, Михаил Девятаев получил орден Красного Знамени.

Как вспоминал Михаил Петрович, в 1941 году под Киевом при возвращении с задания он был атакован немецкими истребителями. Одного Девятаев сбил, но сам получил ранение в левую ногу. После госпиталя врачебная комиссия определила его в тихоходную авиацию. Михаил служил в ночном бомбардировочном полку, затем в санитарной авиации. Все его попытки вернуться в истребительную авиацию заканчивались неудачей.

Только после встречи в мае 1944 года с Александром Покрышкиным он вновь стал истребителем, командиром звена в составе 104-го полка 9-й гвардейской Краснознаменной авиационной истребительной дивизии.

Несколько слов о командире дивизии — знаменитом летчике-асе. За годы войны Покрышкин совершил 650 боевых вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 — в группе. В августе 1944 года он стал первым в стране трижды Героем Советского Союза. Он вырастил 59 летчиков, которые под его руководством впоследствии стали Героями Советского Союза, а шестеро из них удостоились Золотой Звезды Героя дважды. За время войны они уничтожили более тысячи фашистских самолетов. В своей дивизии Покрышкин подготовил и воспитал 1108 орденосцев. Кого попало в дивизию не брал, а только высококлассных мастеров воздушного боя. Таким и был новый командир звена.

13 июля 1944 года старший лейтенант Девятаев в воздушном бою под Львовом сбил вражеский фоккер «FW-190». Однако самолет Девятаева тоже был подбит. В последний момент летчик с парашютом покинул падающий истребитель. Приземлившись в бессознательном состоянии на территории противника, Девятаев попал в плен.

После допроса Михаила Девятаева перебросили в разведотдел Абвера, затем в Лодзинский лагерь военнопленных, откуда вместе с группой пленных летчиков он уже в августе 1944 года совершил первую попытку побега. Но беглецы были пойманы и отправлены в лагерь смерти Заксенхаузен. Там с помощью лагерного парикмахера, подменившего нашивной номер на робе, Михаилу Девятаеву удалось сменить статус «смертника» на статус «штрафника». Вскоре под именем учителя Степана Никитенко он был отправлен на остров Узедом в Балтийском море, где в ракетном центре Пенемюнде, возглавляемом немецким конструктором ракетно-космической техники Вернером фон Брауном, испытывались новейшие самолеты и шли разработки нового оружия Третьего рейха — крылатых ракет Фау-1 и баллистических ракет Фау-2.

Этим оружием фашисты надеялись изменить ход войны. И весной 45-го им важно было навести ужас на население Лондона. Однако серийная Фау-1 пролетала всего лишь 325 километров. С потерей стартовой базы на западе Германии крылатые ракеты стали запускать с Пенемюнде. Отсюда до Лондона более тысячи километров. Ракету поднимали на самолете и запускали уже над морем. Разработка и испытания ракеты, способной самостоятельно достигнуть британских островов, являлась для центра главной задачей.

Работая на военном аэродроме, Девятаев стал готовить побег. Но для этого нужны были верные товарищи. Они нашлись среди военнопленных. Во время работ и по вечерам в бараке Девятаев тайно изучал приборные панели и оборудование кабины самолета Heinkel-111 по фрагментам кабин разбитых машин, находившихся на свалке рядом с аэродромом. Как рассказал мне Михаил Петрович, во время работ на самолетной стоянке он несколько раз подходил к кабине пилота, когда тот готовился к вылету.

Сделав удивленно-восхищенное лицо, он старался запомнить действия летчика при запуске двигателя. Детали готовящегося побега обсуждались небольшой группой — с распределением ролей между основными участниками предстоящей операции.

8 февраля 1945 года, убив часового у самолетной стоянки, Девятаев с десятью товарищами захватили личный самолет начальника лагеря — военно-транспортный «Хейнкель-111», оснащенный секретной аппаратурой. Запуская мотор, Михаил обнаружил, что в самолете нет аккумулятора, без которого завести двигатель невозможно. В течение нескольких минут беглецам удалось найти тележку с аккумуляторами и подогнать ее к самолету.

Девятаев запустил оба мотора и вырулил на взлетную полосу. Самолет набрал скорость, однако по неясным причинам штурвал не отклонился, и взлететь не удалось. На взлетной полосе собрались немецкие солдаты, не понимавшие, что происходит. С другой стороны аэродрома наперерез самолету направился тяжелый топливозаправщик с целью перегородить взлетку.

Девятаев решил предпринять вторую попытку взлететь и направил самолет на солдат, они разбежались. Вернув машину обратно к стартовой площадке, Девятаев понял, что взлететь мешали триммеры руля высоты, установленные «на посадку». Ценой огромных усилий с помощью товарищей Михаилу Петровичу удалось справиться с управлением. Своих сил на это попросту не хватало — ведь летчик весил всего сорок с небольшим килограммов!

Девятаев знал, что сейчас начнется погоня и направил самолет сначала на север, в сторону Швеции, и только затем на восток, чем и сбил с толку своих преследователей. А возглавил погоню за дерзким беглецом опытный летчик, обладатель двух «Железных крестов» и «Немецкого креста в золоте» обер-лейтенант Люфтваффе Гюнтер Хобом. Однако преследователи вернулись ни с чем. Самолет был обнаружен воздушным асом полковником Вальтером Далем, возвращавшимся с задания, но приказ немецкого командования сбить одинокий «Хейнкель» он выполнить не мог из-за отсутствия боеприпасов. В районе линии фронта самолет обстреляли советские зенитные орудия, пришлось идти на вынужденную посадку. «Хейнкель» сел на брюхо южнее населенного пункта Голлин в уже освобожденной Прибалтике.

Михаила доставили к командованию, он передал самолет с секретным оборудованием, доложил обо всем увиденном в немецком плену. Эти сведения во многом предопределили судьбу секретной ракетной программы рейха и ход всей войны. Побег Девятаева и его товарищей с ракетной базы Пенемюнде позволил советскому командованию узнать точные координаты стартовых площадок ФаУ-2 и разбомбить не только их, но и подземные цеха по производству урановой бомбы. Это была последняя надежда Гитлера на продолжение войны.

Летчик рассказывал:

— Аэродром на острове был ложный, там стояли фанерные макеты. Американцы и англичане бомбили его вхолостую. Когда я рассказал об этом командующему 61-й армии генерал-полковнику Павлу Алексеевичу Белову, он ахнул и схватился за голову! Я объяснил, где в лесу скрыт настоящий аэродром. Его закрывали деревья на специальных передвижных колысках. Вот почему его не могли обнаружить». А ведь на нем находилось около 3,5 тыс. немцев и 13 установок Фау-1 и Фау-2!

После первых допросов Михаил Петрович и его товарищи были помещены в фильтрационный лагерь в Польше, где подвергались многочисленным проверкам. В сентябре 1945 года Девятаева нашел Сергей Павлович Королев, назначенный руководить советской программой по освоению немецкой ракетной техники. Работавший под псевдонимом «Сергеев» Королев вызвал его на остров Узедом и привлек для консультаций. Здесь Девятаев показал советским специалистам места, где производились узлы ракет и откуда они стартовали. В конце 1945 года Девятаев был уволен в запас.

После войны бывший узник концлагеря находился полгода под следствием, осужден военным трибуналом и репрессирован за то, что раненым был взят в плен. Спустя девять лет Девятаев попал под амнистию. Но его мытарства продолжались еще долго. Человеку с дипломом речного капитана под различными предлогами отказывали в трудоустройстве по специальности в Казанском речном порту, где работать он смог только чернорабочим. Спустя некоторое время ему удалось занять место шкипера на несамоходной барже. Так и перебивался он случайными заработками вплоть до 1957 года.

23 марта 1957 года впервые о подвиге Девятаева и его товарищей рассказала «Литературная газета» в очерке журналиста Яна Винецкого «Мужество». И только после личного вмешательства академика Сергея Павловича Королева и боевого командира Александра Покрышкина подвиг Михаила Девятаева получил достойную оценку. 15 августа 1957 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза, вручен орден Ленина, возвращены боевые награды.

Вскоре после награждения Михаилу Девятаеву были поручены испытания «Ракеты» — одного из первых советских судов на подводных крыльях. Он долгие годы работал капитаном речных судов и стал первым капитаном теплохода «Метеор».

Уже на склоне лет, в 2002 году, ему вновь пришлось побывать на месте своего подвига на острове Узедом. По приглашению немецкой стороны Михаил Петрович гостил в Германии несколько дней. Там, в районе бывшего военного аэродрома Пенемюнде, состоялась встреча Михаила Девятаева и бывшего немецкого летчика Гюнтера Хобомы. Два ветерана Второй мировой войны, представители двух сражавшихся народов, пожали друг другу руки, обнялись, выпили по чарке... Они долго говорили о жизни, о детях и внуках, о людских судьбах. И, конечно же, о войне, о ее жестокости и бессмысленности. И еще — об ответственности людей за то, чтобы подобная трагедия не повторилась.

Михаил Петрович Девятаев скончался осенью 2002-го в Казани, где жил все послевоенные годы. О его подвиге написаны книги, сняты фильмы, сложены стихи и песни. Ныне имя Девятаева носят Казанский речной техникум и улица. На доме, где жил Михаил Петрович, установлен памятный барельеф. А в моей памяти осталось незабываемое время, которое я провел с этим незаурядным человеком, гражданином и патриотом. И еще несколько фотопленок, на которых запечатлены бесценные мгновения нашего общения.

Возвращаясь к пребыванию в нашем гарнизоне покрышкинцев, вспоминаю, как ветераны с интересом знакомились с жизнью и бытом служащих, с радостью узнавали только им знакомые

и памятные места. Войдя в один из кабинетов штаба дивизии, Герой Советского Союза Константин Васильевич Сухов, командир эскадрильи 16-го авиаполка, воскликнул:

— А здесь мы встретили День Победы! Майской ночью 1945 года личный состав советского авиагарнизона Гроссенхайн был разбужен автоматной-ружейной стрельбой. Летчики, техники, специалисты связи и тыла, ночевавшие в помещениях штаба дивизии, выскочили с оружием на место построения, решив, что прорывается какая-то группировка немцев. Однако дело оказалось в другом. На площади командир дивизии полковник Покрышкин и связист штаба палили в небо из автоматов. Это был солдатский салют! Только что получили радиogramму: подписан Акт о капитуляции фашистской Германии. Победа! Начались братания, салют из всех видов оружия, застолье...

А рано утром авиаполк был построен лично комдивом. Команда: летчики — бегом на озеро, техники — готовить самолеты к боевому вылету. На берегу озера Покрышкин поставил летчикам задачу: немцы прорываются к Праге, есть приказ поддержать восстание в столице Чехословакии. Покрышкин первым нырнул в холодную воду озера, за ним и все летчики — для отрезвления...

Через час «Авиакобры» дивизии Покрышкина уже патрулировали небо над Прагой, прикрывая огнем восставших. В один из этих майских дней ведомый Покрышкина, старший лейтенант Георгий Голубев, сбил немецкий «Дорнье-217», шедший с запада на восток. Это был последний вражеский самолет, сбитый покрышкинцами. После войны Покрышкин стал первым советским комендантом города Гроссенхайн. Старшее поколение немцев в период моего пребывания в Германии еще помнило нашего национального героя, его справедливость и заботу о населении.

В один из дней, когда гостили покрышкинцы, мы побывали в крепости Кёнигштайн под Дрезденом. Построенная на высоком базальтовом выступе над Эльбой, многие века крепость считалась неприступной. Но ее гарнизон сдался в плен нашим парашютистам, которые высадились в начале мая 1945 года на небольшой

площади в центре цитадели. В каменоломнях неподалеку от крепости наши воины вскоре обнаружили сокровища Дрезденской картинной галереи, спрятанные фашистами в конце войны.

Несколько сотен полотен величайших художников Европы, в том числе Рафаэля, Дюрера, Джорджоне, Вермера и Тициана, были на грани гибели. В течение нескольких лет советские реставраторы восстанавливали эти шедевры. В середине 50-х годов их безвозмездно передали в картинную галерею Дрездена. Благодарные немцы освободили наших солдат и офицеров от платы за вход в галерею. Во время нашего посещения этой сокровищницы мировой культуры мне посчастливилось сфотографироваться с героями этого очерка под шедевром Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна». Считаю снимок своей удачей, назвал я его «Мадонна с героями, или Апофеоз Победителей».

Много лет прошло с той поры. Ликвидирована Западная Группа войск — форпост нашей обороны в центре Европы. Ушли от нас ветераны-фронтовики, о которых я рассказал. Нет уже той страны, которую они защищали. Но пока мы помним, как ковалась Великая Победа, помним о подвигах наших отцов и дедов, о наших боевых друзьях, пока мы помним лучшие традиции боевого товарищества и братства — они будут жить...

Евгения ДЕКИНА

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ

Гундарин М. *Солнце всходит и заходит: Жизнь и удивительные приключения Евгения Попова, сибиряка, пьяницы, скандалиста и знаменитого писателя* / Михаил Гундарин. — СПб.; М.: «RUGRAM_Пальмира», 2021. — 460 с.

Биографии известных современников — жанр особенно сложный. Писать о ком-то из прошлого проще — история жизни завершена, очевидцев нет, можно выстраивать свои версии и претендовать на объективность. Если в центре повествования личность по-настоящему интересная и неоднозначная, писать становится еще труднее. Но в данном случае задача усложняется еще и тем, что герой книги — замечательный писатель, человек огромного природного обаяния, которого я и сама очень люблю, а потому книгу ждала с большим опасением. Я, конечно, знала, что Михаил Гундарин окончил факультет журналистики МГУ, кандидат философских наук, автор нескольких книг, литературной критикой занимается профессионально, но мне казалось, что не скатиться в комплиментарность при таком объекте исследования невозможно. А если написать о Евгении Анатольевиче в благостной интонации, то это сотрет всю оригинальность его самобытной личности.

Он руководит ПЕН-центром, преподает в Литинституте, много делает для молодых писателей, поддерживает своих друзей,

и потому у читателя может сложиться образ деятельного альтруиста, чем-то похожего на Максимилиана Волошина, но при этом Евгений Анатольевич — сибиряк, человек крайне волевой, строгий, многие его боятся, и не зря. Он умеет осадить хама, приободрить опечаленного друга, восстановить справедливость. Это редкое сочетание, приправленное изрядной хитростью, остроумием и огромной житейской мудростью. И вот это все каким-то волшебным образом должно быть отражено в книге.

Однако Михаил Гундарин не просто с успехом справился с поставленной задачей, он создал книгу, которая даже в своей поэтике отражает сложную личность Евгения Анатольевича Попова.

Одна часть — это уникальные байки и философские притчи о друзьях, часть из которых поклонники писателя иногда читают в интервью и слышат на творческих встречах Евгения Попова с читателями. Среди названных друзей Василий Аксенов и Василий Шукшин, Белла Ахмадулина и Андрей Битов, Саша Соколов и Юрий Кублановский, Владимир Салимон и Андрей Вознесенский, Дмитрий Александрович Пригов, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский, Эдуард Русаков, Александр Кабаков, Анатолий Гаврилов и многие другие.

Например, история о церемонии женитьбы героя книги с участием полуподпольной богемы 1980 года: «Расписывали нас в Беляево. Свидетельницей с моей стороны была Ахмадулина, со стороны Светланы — великая Инна Натановна Соловьева, всегда Светлану ценившая и выделявшая. Театровед, критик, автор, кстати, одной из первых ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ внутренних рецензий на мои рассказы, которые я принес в «Новый мир» в середине 60-х. Подошел Д. А. Пригов, который жил рядом, на улице Волгина, с верным своим другом и женой Надей Приговой и сыном, тогда подростком Андреем. Дмитрий Александрович явился на бракосочетание в своей знаменитой шапке с подвязанными на затылке ушами, сапожках, в которые были заправлены черные штаны, и самиздатским сборничком стихов, где были следующие строки:

Женись, Попов! А мы посмотрим,
Присмотримся со стороны.
Женися, коли предусмотрен
Законодательством страны
Такой порядок оформленья
Любви материи живой,
В нем дышит принцип мировой:
Что не оформлено — то тленье.

Все почему-то были в черном. «Сектанты женятся», — говорила публика. Женщины пустили слезу. После церемонии вышли на улицу, расстелили на снегу скатерть ручной работы С. Параджанова, подаренную Ахмадулиной, а через нее нам. Борис Мессерер с треском стрелял шампанским.

Для празднования сняли «стекляшку» на станции Переделкино, прямо около платформы. Перед этим, когда искали недорогой ресторан, к Белле Ахатовне обратился знакомый графоман и сказал, что все устроит, потому что он директор ресторана в Черемушках. Мы с ней поехали на улицу АРХИТЕКТОРА ВЛАСОВА, и выяснилось, что его там никто не знает. «У него, наверное, мания величия», — резюмировала Ахмадулина. В «стекляшке» заказали закуску, «горячее» (котлеты, цыплята-табака) и небольшое количество спиртного. Остальное спиртное нам разрешили принести с собой, поэтому свадьба обошлась рублей всего лишь в 300-400, хотя гостей было очень много. «Каталог», «метрОпольцы», Сучков, родственники Светланы — полный ресторан. Метрдотелю дали «в лапу». Перед торжественной пьянкой навестили могилу Пастернака. Когда возвращались, я сказал Белле: «Нехорошо, около кабака пара машин западных корреспондентов с западными номерами». «Да теперь уже все равно», — отозвалась Белла Ахатовна. И она была права. По крайней мере, треть гостей уже имела «прокурорские предупреждения», чего уж там! Обстановка была самая непринужденная. Пристанционные алкаши, несмотря на запрет, заходили в «стекляшку» и клячили у буфетчицы водку. В качестве ответа она съездила одному из них счеками по голове. Наняли баяниста и все, включая интеллектуалов, принялись плясать под шлягерные мелодии тех лет».

Другая часть — это факты биографии писателя, иногда уже описанные в его рассказах, но отданные героям, иногда неизвестные. Михаил приводит и первые трогательные рассказы Евгения Анатольевича, к примеру, этот, о книгах Паустовского:

«Все-таки придется продать. Шесть томов в коричневом переплете. Каждый опоясывают две полоски: красная и черная. Я обертывал книги калькой, и полосы все равно были видны, только немного тускло. Я люблю эти цвета. Они не дают успокоиться. «В жизни много дряни», — говорит черная. «Не бойся, победа за нами», — говорит красная. Она немного шире черной...»

Скажут, сентиментальный. А я жил за этими книгами лучшие часы своей жизни, которая только начинается».

В этих биографических историях передается эпоха и жизнь страны глазами человека любопытного и очень деятельного. Чего только стоит путешествие школьника Жени в Питер и Одессу. Это вам не какая-нибудь поездка с классом на каникулах, это одиночный алкотрип с работой грузчиком, ночевкой у незнакомых взрослых собутыльников, покупкой книг и погоней за культурой. Михаилу Гундарину удается уловить и передать эту необычайную широту личности, которая принимает жизнь целиком, во всех ее проявлениях. Даже цитаты из текстов Михаил выбирает крайне характерные:

«Я анашу пробовал два раза в жизни. Первый раз в институте, совместно с А. Э. Морозовым, Б. Е. Трошем и “Красным крепким”, после чего все мы сильно блевали, второй раз — уже будучи “писателем” — вместе с водкой, классиком Фурдадыкиным и колдуном Ерофеем, после чего все мы тоже блевали. Не пошло, знаете ли...» («Подлинная история “Зеленых музыкантов”», 1998)

Кроме того, Михаил Гундарин хорошо вписывает происходящее с Евгением Анатольевичем в культурный контекст, вспоминая, к примеру, как герой Довлатовского «Винограда» падает в обморок, столкнувшись с полуголыми зэчками за работой, и как школьник Женя Попов спокойно упоминает, что зэчки были бы не против переспать за деньги, да денег ни у кого не было. Эта широта и внимательность взгляда делает книгу невероятно увлекательной, Евгений Попов постоянно разрушает стереотипы:

«Кублановский привел меня на радио “Свобода”, здание которого, увитое колючей проволокой, любили под зловещую музыку показывать по советскому телевидению, как скопище темных сил, шпионов и диверсантов. Выяснилось, что колючая проволока — это ограда теннисного корта рядом со зданием “Свободы”».

Удалось Михаилу вытащить и такие факты биографии, о которых Евгений Анатольевич, как человек скромный и далекий от позерства, никогда не рассказывает.

«Стояла страшная жара, мы со Светой были у Инны Лиснянской в Переделкине, мне становилось нехорошо, была пятница, и мы долго ехали по пробкам на нашу дачу. Полночи я промаялся, думая, что чем-то отравился, к утру все прошло, и я со смехом поведал об очередном приключении Кабакову, который, как я уже писал, жил в шести километрах от меня в поселке Павловская Слобода. Он моего веселья не разделил и велел мне ехать в село Аносино, где монастырь и санаторий работников Прокуратуры, а там в платной поликлинике работает замечательный врач-кардиолог Нина Федоровна. “При чем здесь кардиология?” — вскипел я, но все-таки послушался старшего товарища и сел в машину, надев тапки на босу ногу.

Нина Федоровна сделала мне кардиограмму, велела мне не шевелиться и ждать “скорую”, которая сейчас же отвезет меня в Истру, потому что у меня обширный инфаркт.

Я в Истру не захотел, вернулся домой, сообщил Свете о своих скорбных делах, и она попыталась вызвать платную «скорую», которая подрядилась отвезти меня в Москву за безумную сумму в 14000 рублей (такси в Москву стоили оттуда максимум 500 руб.) Потом они поправились, перезвонили и сообщили, что вышла ошибка и поездка обойдется нам в 20000 рублей. Я слабым голосом послал их к известной матери, велел Светке собираться, не забыть нашу любимую кошку Пери, которая пристроилась у меня на груди с левой стороны в районе сердца, и сел в машину, запретив жене плакать. Включил третью скорость и медленно, не дергаясь, доехал до Москвы. Светлана по дороге связалась с Борисом Мессерером, он с главным врачом Боткинской больницы, и мне там нашлось место в реанимации, куда меня и привезли уже бесплатно на московской “скорой”. Веселые врачи

“скорой” сказали мне, что я поступил совершенно верно, когда поехал из-за города сам, что раз инфаркт УЖЕ состоялся, то это было теперь — всё равно, а время я выиграл. Получается, что спасли меня Кабаков, Нина Федоровна, моя дорогая жена Светлана, Мессерер и кошка Пери».

И таких историй в книге довольно много, а потому она будет особенно интересна поклонникам творчества Евгения Анатольевича, но и самые взыскательные читатели, далекие от литературы, найдут в ней много познавательного, поразительного, да и просто веселого.

Виталий Белицкий

ПРАВДА ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

Тимофеев А. В. *Как русские научились воевать.
Откровенные беседы с фронтовиками.*
М.: Вече, 2020. — 400 с.

Журналист и писатель Алексей Тимофеев в девяностые и нулевые сделал то, о чем многие его коллеги только помышляли. А многие и вовсе оставались равнодушны к этой теме. В те времена реальным свидетельствам легендарных фронтовиков податливая публика предпочитала сомнительные источники, охотно покупалась на самые бредовые концепции новоиспеченных разоблачителей. Вагоны электричек и студии телеканалов были переполнены «экспертами», изучившими военную историю по книгам Виктора Суворова (Владимира Резуна).

Книга «Как русские научились воевать» вышла к 75-летию Победы, но очень своевременной она была бы, скажем, в год 50-летия этого события. Да и в 2005-м, 2010-м еще были живы некоторые из собеседников Алексея Тимофеева. Сейчас эту книгу можно назвать очень запоздавшей...

Между тем базовая работа сделана автором в те годы, когда у российских издательств были другие исторические и псевдоисторические приоритеты. Алексей Тимофеев собрал свидетельства героев войны именно в те времена, когда они, пережив 1990-е и осмыслив катастрофу, произошедшую с их страной, говорили, что называется, с «последней прямоотой».

Название книги «Как русские научились воевать» — своего рода отсылка к одному эпизоду повести «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, где Игорь Свидерский спорит с инженером-электриком Георгием Акимовичем.

«— Куда нам с немцами воевать, — говорит он, нервно подергивая галстук и собирая лоб в морщины. — Немцы от самого Берлина до Сталинграда на автомашинах доехали, а мы вот в пиджаках и спецовках в окопах лежим с трехлинейкой образца девяносто первого года.

Игорь вспыхивает. Он вечно сцепляется с Георгием Акимовичем.

— Что вы хотите этим сказать?

— Что воевать не умеем.

— А что такое уметь, Георгий Акимович?

— Уметь? От Берлина до Волги дойти — вот что значит уметь. — Отойти от границы до Волги тоже надо уметь.

Георгий Акимович смеется мелким, сухим смешком. Игорь начинает злиться.

— Чего вы смеетесь? Смешного ничего нет. Франция фактически за две недели распалась. Нажали — и развалилась, рассыпалась, как песок. А мы второй год воюем одни как перст.

— Что вы с Францией сравниваете. Сорок миллионов и две-сти миллионов. Шестьсот километров и десять тысяч километров. И кто там у власти стоял? Петены, лавали, спокойненько работающие теперь с немцами. Нет. Воевать мы не умеем. Это факт.

— Вот-вот-вот... — горячится Игорь. — Петены и лавали. Именно петены и лавали. А у нас их нет. Это главное. Вы понимаете, что это главное? Что люди у нас немножечко другого сорта. И поэтому-то мы и воюем. До сих пор воюем. Даже здесь, на Волге, потеряв Украину и Белоруссию, воюем. А какая страна, скажите мне, какая страна, какой народ выдержал бы это?»

И герои книги Алексея Тимофеева возражают некрасовскому Георгию Акимовичу, подтверждая правоту Игоря Свидерского: «люди у нас немножечко другого сорта». Это представители разных родов войск — разведчик, дважды Герой Советского Союза Виктор Леонов; командир танка Т-34 Нина Ширяева (Бондарь); ас-истребитель Федор Архипенко; комбат, Герой Советского

Союза Сергей Батышев; сапер Дмитрий Голиков; морской пехотинец Вадим Федулов; командир минометной батареи Петр Бахтин; артиллерист Юрий Бондарев...

В книгу вошли также очерки о маршале Александре Голованове (командующем авиацией дальнего действия во время Великой Отечественной) и маршале Николае Воронове (командующем артиллерией): автор много общался с их близкими.

Записывая рассказы героев войны, Алексей Тимофеев часто работал в паре с известным фотохудожником Павлом Кривцовым. В книге помещены и кривцовские снимки, сделанные во время этих встреч.

Полноту портретов легендарных фронтовиков обеспечивает и еще одна (почти незаметная) работа, проделанная автором: бережно сохранена индивидуальная интонация рассказчиков, дающая представление и об их характерах.

Вот, например, прямая речь Нины Ильиничны Ширяевой (Бондарь), командира танка Т-34 во время войны: «Помню погранзаставу, где отец был начальником, на границе с Китаем на реке Уссури. Мы, дети, кричим на другой берег китайскому пограничнику: ходя, соли надо? Китайцы обижались, они же все едят без соли, жаловались отцу: зачем маленький мадам говорит — ам, ам, соли надо?»

Затем отца перевели в Западную Сибирь. Эшелон, не доехав до Новосибирска, сошел с рельсов, многие погибли, отец умер в госпитале... Знакомая семья военнослужащих позвала маму в Бийск, где мы и остались жить. Я очень люблю Алтай. За что? Да люблю и все! Поедешь в предгорья, в горы — не нарадуешься. Чистейший воздух и горные реки».

В двух абзацах воспоминаний угадывается то ли экспозиция и завязка романа, то ли синопсис первого сезона сериала. Но сегодняшними продюсерами и сценаристами редко востребованы невыдуманные истории реальных героев. Им неинтересна судьба женщины-танкиста, дважды горевшей в танке, четыре раза тяжело раненной, награжденной орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени? Добавим сюда еще и линию ее сына — офицера-танкиста, прошедшего обе чеченские войны...

Обратим внимание на лапидарный стиль устных рассказов Нины Ильиничны, записанных Алексеем Тимофеевым:

«И жалости у меня к ним не было. Давила их батарею, и абсолютно ничего во мне не дрогнуло. Курице я за всю жизнь голову отрубить не могла. А немцев — спокойно. Честно говоря, и сейчас их речь слушать не могу. Для меня это враг! Сейчас они нам улыбаются, говорят что-то... А я им не верю».

«Воробчук в истории нашей бригады пишет: в боях за Винницу экипаж Бондарь подбил один танк Т-3, шестиствольный миномет, уничтожил 50 гитлеровцев. На последнее я скажу: кто их считал? Ну, уничтожил пушку — это видно. А живая сила? Мы ударили и пошли дальше. Эти цифры мне и раньше страшно не нравились. И сколько мой экипаж подбил танков — честно скажу, я не знаю, даже примерно. Другой раз приедешь, говорят: Нинка, ты танк подожгла. Когда, не знаю. Мало ли я там лупила. Он сразу может не загореться, а немного погодя. Может быть, кто-то еще ему поможет. Я видела в прицел, что ударила в него, и дальше поехала. Меня уже это не касается. Я знаю, что там сзади посмотрят и добьют, если он будет трепыхаться. Доводилось ли мне самой гореть в танке? Доводилось. Но мы оттуда научились искусно выпрыгивать. В считанные секунды нас уже там нет. Прыгали с башнером классно! А танк, бывало, загорится, а потом потухает».

Наверное, отрывистая речь, предельная сжатость едва ли не каждой фразы скромной жительницы Бийска — производное боевого опыта, приобретенного в тесном пространстве танковой башни, танкового корпуса. Да и стремительный ход мысли, с резкими выпадами и молниеносными переключениями, возможно, связан с упомянутой наукой: искусно выпрыгивать из танка в считанные секунды.

А вот как Нина Ильинична рассказывает о своем фронтовом быте: «Вылезешь из танка как черт. Умыться негде, воды нет. Очки подынешь: ни рожи, ни кожи. Не поймешь, кто ты есть. Как усну, мне снилось, что отец работает банщиком, а я у него прошусь: разреши помыться. Если рядом овраг с ручьем или болото чистое, мы комбинезоны в грязи, в песке вытопчем, сполоснем. На трансмиссию положим, мотор заведем, пять минут — и комбинезон высох.

Быт танкиста — не для женщины. Но мирилась со всем, терпела. Что меня еще возмущает: показывают женщину на войне, она обязательно курит. А у нас в бригаде никто из девушек не курил, не пил».

Эти свидетельства командира Т-34 никак не вяжутся с кинематографическими расхожими (в последние годы) представлениями о женщине на войне. Мы уже привыкли к экранным несуразностям: женские лица на фронте не чужды макияжу, да и фронт превратился в филиал «Санта-Барбары».

Нина Ширияева (Бондарь) вспоминает, как на школьной встрече восьмиклассницы спросили у нее о фронтовой любви. Она ответила: «Я там никому не нравилась, и мне никто не нравился. Я неумытая, грязная. Ни о какой любви речи быть не могло. А где что-то было, я не знаю. Всё».

Каждый из героев книги постигал и преумножал «науку побеждать». Один из тех, кто доносит до читателя свою «правду переднего края», — профессиональный педагог Сергей Яковлевич Батышев, Герой Советского Союза, «покоритель высот». Начал войну солдатом, закончил в Берлине, командиром полка. «Батышев был одним из того поколения школьных учителей, которые стали лучшими офицерами, сменив погибших в первый год кадровых командиров». После войны стал академиком, ученым с мировым именем.

В книге Тимофеева сквозная тема «Как русские научились воевать» сопровождается вопросом «Как русские научились верить». Почти все герои, с которыми беседовал автор, родились после 1917 года. Они прожили яркую жизнь и ушли из нее в новом тысячелетии. (Нина Ильинична Ширияева умерла 13 апреля 2013 года, в 90 лет.)

Для кого-то из них фронт стал местом, где они впервые задумались о вере в Бога. Кто-то ощутил ангела-хранителя за плечом.

Автор понимает, что неслучайно многие из собеседников выходили живыми из самых немислимых передраг, чудом спасались от смерти, казалось бы, в безысходных ситуациях. В одной только биографии легендарного воина Виктора Леонова, командира 181-го особого разведывательного отряда Северного флота, мы находим десятки таких примеров (и завидуем автору, которому посчастливилось лично общаться с героем).

Примеры чудесного спасения упоминаются и писателем Юрием Бондаревым: «Были случаи, когда, что называется, смотрел смерти в глаза. Однажды снаряд прямо-таки ввинтился в бруствер прямо передо мной, но почему-то не взорвался. В голове промелькнуло: “Господи, спаси и сохрани!” И уцелел. А еще как-то угодил под шрапнель. Мой вещмешок разнесло в клочья, а спину задело только по касательной. Значит, Бог и на этот раз помиловал».

Командир танкового батальона Николай Корявко рассказал автору книги: «А ближе всего к смерти я был, наверно, на Дуклинском перевале в 1944-м... Они ударили издалика с тяжелых орудий. Разорвался снаряд. Осколок, маленький, шел прямо в сердце, пробил пуговицу, партбилет, сложенную карту и у записной книжки остановился...»

Командир минометной батареи Петр Бахтин стал протоиереем Русской православной церкви. «Под Волховом ходил на штыковой бой, рассказывает он автору о начале войны. — Немцы штыка не выдерживали. А потом поняли, что мы научились воевать». В наградном листе 1945 года, когда Бахтин уже был командиром батареи, говорится: «19 февраля в районе села Клайне-Езериц отбил 2 контратаки пехоты с самоходными орудиями, уничтожил 50 солдат и офицеров. Во время одной контратаки немецкие автоматчики приблизились (на расстояние) 50 метров к наблюдательному пункту. Тов. Бахтин вызвал огонь батареи на себя и отбил контратаку».

Артиллериста Николая Сазоновича Булычева дважды ранили во время немецкого прорыва в последние дни войны. В бессознательном состоянии он был отправлен в госпиталь. «Нас, человек восемь раненых, вез на лошадях немец. Когда я очнулся, мне дали в руки пистолет, который я держал над его затылком». Воспользоваться пистолетом не пришлось, немец благополучно довез будущего дипломата и чрезвычайного и полномочного посла 1-го класса.

В 1990-е пропаганда усиленно поработала над тем, чтоб приучить население к мысли: воинский строй — это что-то безликое, серое, «винтики войны», «пушечное мясо». Автор книги «Как русские научились воевать» так воспроизводит рассказы

своих героев, что не остается сомнений: каждый из них — яркая личность, закалившаяся в горниле войны. В каждом из них — «невытравленные черты русского характера».

Автор сам дает ответ на тот вопрос, который ненавязчиво задавался фронтовикам: «Как и всё практически их поколение, они были воспитаны вне Русской православной церкви, но в своих действиях на войне, по сути, были верны вере предков, главной христианской заповеди: “Нет больше той любви аще кто положит душу свою за други своя”».

Клековкин Николай Николаевич (г.р. 1955)



Полдень в Затоне. 2010

Холст, масло. 90x140